

ГОРЯЧЕЕ МОЛОКО

ДЕБОРА ЛЕВИ

РОМАН ВОШЕЛ В ШОРТ-ЛИСТ БУКЕРОВСКОЙ ПРЕМИИ 2016 ГОДА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР·ЧИТАЕТ ВЕСЬ МИР

Горячее молоко
Дебора Леви

Аннотация
Дебора Леви. ГОРЯЧЕЕ МОЛОКО
Август 2015 года. Альмерия. Юг Испании
Доктор Гомес
Леди и джентльмены
Стук
Море идет к Розе
История болезни
Охота и собирательство
Дерзость
Аскеза и роскошество
Побрякушка
Грубые забавы
Живые цитаты
Художница
Воительница Ингрид
Хромота
Без декларации
Сюжет
Другое
Рассечение
История

Лекарственные средства
Крупное морское животное
Отсечение
Рай
Восстановление
Испытание Гомеса
Исчезающий диван
Выход на прогулку
Матереубийство
Купол
Диагноз

Аннотация

Молодая героиня София, сменившая профессию антрополога на работу официантки, приезжает с больной матерью Розой в испанский городок. Между хрупкой и не уверенной в собственном будущем Софией и властной Розой намечается конфликт: Роза относится к дочери как к служанке и недовольна ее пассивностью и холодностью. Личная драма дочери постепенно перерастает в нечто большее: Испания превращается в мифический берег, с медузами, таинственными целителями, странными предзнаменованиями. «Горячее молоко» — роман-мираж, поэтичный и переливчатый.

Дебора Леви
ГОРЯЧЕЕ МОЛОКО



Deborah Levy.
Фото автора © Sheila Burnett.

Сильный роман о внутренней жизни, которую Леви воссоздает с яркостью, напоминающей о книгах Вирджинии Вулф. Завораживающе.

The Guardian

Леви сплела сеть из опасной красоты и поэтической хандры. Книга призывает обольстительную, необъяснимую силу, как колода карт Таро; на каждой странице — яркие, таинственные знаки, которые читателю предстоит расшифровать.

The New York Times Book Review

Леви оживила старую тему борьбы матерей и дочерей.

Financial Times

В своей провокационной книге Леви соединяет ум и симпатию и добивается на удивление свежих результатов.

Kirkus Reviews

Буйный стиль и вживание в местность. Нельзя пропустить!

New Statesman

Август 2015 года. Альмерия. Юг Испании

Сегодня в пляжном баре уронила на бетонный пол свой ноутбук. Он выскользнул у меня из черного каучукового чехла (в форме кармана) и грохнулся экраном вниз.

Это я к чему говорю: если он разбит, то вместе с ним и я. У меня экранная заставка — лиловое звездное небо: тут тебе и созвездия, и Млечный Путь (в классической латыни *Via Lactea*). Много лет назад мама сказала мне, что «Млечный Путь» по-гречески пишется γαλαξίας κύκλος и что Аристотель наблюдал этот молочный круг в Халкидиках, откуда тридцать четыре мили до нынешнего города Салоники, где родился мой отец. Древнейшей звезде тринадцать миллиардов лет, но на моей заставке всем звездам два года, и сделаны они в Китае. Теперь Вселенная треснула.

И я тут бессильна. Наверное, в соседнем захолустном городишке есть интернет-кафе и его владелец иногда принимает компьютеры в мелкий ремонт, но сейчас придется заказывать новый экран, который придет через месяц, не

раньше. Буду ли я здесь через месяц? Не знаю. Это зависит от моей недужной матери, которая сейчас спит под противомоскитной сеткой в соседней комнате. Проснется и закричит: «София, воды»; я принесу ей воды — и, как всегда, не той. Я уже не уверена, что такое «вода», но принесу на свой выбор: из холодильника, не из холодильника, из чайника — вскипяченную и остывшую. Глядя на звездные поля своей заставки, я то и дело причудливым способом улетаю за пределы времени.

На часах всего одиннадцать вечера; я могла бы дрейфовать по морю на спине, глядя в настоящее ночное небо, на реальный Млечный Путь, да только дергаюсь из-за медуз. Вчера после обеда меня одна такая ужалила повыше локтя, наградив жутким лиловым рубцом, как от удара плетью. Пришлось нестись по раскаленному песку в дальний конец пляжа к сараюшке-медпункту, чтобы получить какое-нибудь снадобье у студента (с окладистой бородой), который целыми днями несет свою вахту для оказания помощи ужаленным купальщикам. Он меня просветил: по-испански «медуза» так и будет *medusa.* Раньше я думала, что Медуза — это древнегреческая богиня, которая была проклята и стала неумолимым

чудовищем: всякий, кто встречался с ней взглядом, превращался в камень. Почему, интересно, в ее честь назвали студенистое животное? И бородач ответил: да, все так, но, по его мнению, щупальца студенистого животного напоминают волосы Медузы, которые всегда изображаются в виде спутанного клубка извивающихся змей.

Перед входом в медпункт я успела заметить желтый предупредительный флаг с картинкой мультяшной Медузы. Клыки и безумные глаза.

— Когда поднят флаг с таким значком, в воду лучше не заходить. Разве что на свой страх и риск.

Студент приложил к ранке вату, пропитанную подогретой морской водой, а затем попросил меня внести свои данные в бланк, больше похожий на петицию. Это был список отдыхающих, которые в тот день пострадали от медуз. На бланке требовалось указать имя, возраст, род занятий и страну происхождения. Непосильная задача, если предплечье у тебя покрылось волдырями и горит. Парень объяснил, что ему приходится у каждого брать подпись для того, чтобы медпункт не закрыли, — времена в Испании тяжелые. Не будь у туристов спроса на его услуги, он бы остался без работы, поэтому медузам он явно рад. Они

дают и кусок хлеба, и бензин для мопеда. Вглядевшись в бланк, я увидела, что возраст ужаленных колеблется от семи лет до семидесяти четырех; в основном это приезжие из разных концов Испании, но среди них затесалось несколько туристов из Великобритании и один из Триеста. Всегда хотела побывать в Триесте, потому что название звучит почти как *tristesse*, забавное словечко, хоть и означает по-французски «печаль». По-испански это будет *tristeza*, что на слух тяжелее, чем французская печаль, — скорее скрип, нежели шелест. Во время купания ни одной медузы я не заметила, но студент объяснил, что щупальца у них очень длинные, а потому жалить они могут с расстояния. Его указательный палец был липким от мази, которую он сейчас втирал мне в руку. Вроде бы в медузах он разбирался. Они прозрачные, потому что на девяносто пять процентов состоят из воды и за счет этого легко маскируются. Основная причина, почему они так расплодились во всех океанах, это неконтролируемый вылов рыбы. Главное — не расчесывать и не сдирать волдырь. На руке могли остаться клетки медузы, и расчесывание приведет к тому, что они выпустят еще больше яда, но специальная мазь обезвредит жалящие клетки. Пока он гово-

рил, я смотрела на мягкие розовые губы, которые шевелились в его бороде, как медуза. Передав мне огрызок карандаша, студент попросил все же заполнить бланк.

Имя: София Папастергиадис.

Возраст: 25 лет.

Страна происхождения: Великобритания.

Род занятий: …

Медузам нет дела до моего рода занятий, так какая разница? Это болезненная тема, хуже, чем укус медузы, и более серьезная проблема, чем моя фамилия, которую никто не может ни выговорить, ни написать. Я объяснила, что у меня диплом антрополога, но пока что работаю в Восточном Лондоне, в кофейне «Кофе-хаус»; там у нас отреставрированные церковные скамьи, бесплатный вай-фай. Зерна обжариваем сами, варим три вида фирменного эспрессо… что писать в графе «род занятий» — непонятно.

Студент подергал себя за бороду.

— Как я понимаю, антропологи изучают первобытных людей?

— Да, только единственный первобытный человек, которого мне довелось изучать, — это я сама.

Я вдруг поймала себя на том, что невыносимо

скучаю по тихим росистым британским паркам.

Мне захотелось растянуться на зеленой травке, где никаких медуз нет и в помине. В Альмерии зеленую траву можно увидеть разве что на поле для гольфа. В этих краях когда-то даже снимали спагетти-вестерны: пыльные, засушливые, выжженные солнцем холмы до боли напоминают Дикий Запад; в одном из таких фильмов играл сам Клинт Иствуд. У настоящих ковбоев, должно быть, постоянно трескалась губы; у меня, например, от зноя губы жутко пересохли — каждый день мажу их бальзамом. Может, ковбои обходились животным жиром? А вглядывались ли они в бескрайнее небо, тоскуя по ласкам и поцелуям? Отвлекались ли от невзгод, блуждая в таинственных лабиринтах космоса, как порой отвлекаюсь я, созерцая далекие галактики на заставке разбитого экрана.

Студент, похоже, разбирался в антропологии не хуже, чем в медузах. Пока я в Испании, он хочет предложить мне «уникальную тему для исследования».

— Ты заметила белые пластиковые конструкции, покрывшие всю Альмерию?

Еще бы, как не заметить этот призрачный кошмар? Он повсюду, куда ни глянь: заполонил все

равнины и долины.

— Это теплицы, — говорит студент. — В пустыне температура внутри таких теплиц достигает сорока пяти градусов. Работают там в основном иммигранты-нелегалы — собирают помидоры и перцы для отправки в супермаркеты, но это практически рабство.

Так я и думала. Если скрыто от глаз, значит, есть там что-то неприглядное. Раз прячут — стало быть, не зря. В детстве я часто закрывала лицо ладошками, чтобы никто меня не нашел. А потом вдруг поняла, что из-за этого, наоборот, люди начинают внимательней ко мне приглядываться — хотят выяснить, что же я такое прячу.

Парень взглянул сперва на мою фамилию, а затем — на большой палец своей левой руки, который он зачем-то начал сгибать и разгибать, словно проверяя сустав.

— Ты ведь гречанка, да?

Его внимание настолько рассеяно, что я теряюсь. За все это время он ни разу не взглянул мне в глаза. Поэтому заученно повторяю: у меня отец — грек, а мать — англичанка, и родилась я в Великобритании.

— Греция меньше Испании, но не способна платить по счетам. Мечта умерла.

Я спросила, что он имеет в виду — экономику? Да, говорит, сейчас он учится в магистратуре на философском факультете Гренадского университета, но считает, что ему повезло устроиться на лето в пляжный медпункт. Если к моменту окончания им университета в нашем «Кофе-хаусе» будут вакансии, он отправится в Лондон. А к чему относилось «мечта умерла», он и сам не знает, у него лично другое кредо. Наверное, где-то вычитал — и фраза прилипла. На самом деле он не считает, что мечта умерла. Прежде всего, чья мечта? Единственная знаменитая мечта, которая ему вспоминается, — из речи Мартина Лютера Кинга «У меня есть мечта», но обычно, когда говорится «мечта умерла», подразумевается, что нечто зародилось, а теперь оборвалось. Только мечтателю решать, умерла его мечта или нет, и больше никому.

А потом студент неожиданно выдал целую фразу по-гречески и выразил показное удивление, когда я сказала, что не понимаю.

Постоянный источник неловкости: ношу фамилию Папастергиадис, а на родном языке отца не говорю.

— У меня мама — англичанка.

— Это понятно, — ответил он на своем безупреч-

ном английском. — Я в Греции всего раз был, в Скиатосе, но все же по верхам понахватался.

Как будто хотел слегка меня уколоть за отмежевание от всего греческого. Отец бросил нас с мамой, когда мне было пять лет, а поскольку мама — англичанка, говорит она со мной в основном по-английски. Да и вообще, его-то каким боком это касается? Пусть бы лучше ожог мой лечил.

— Видел вас с мамой на площади.

— Возможно.

— Она не ходит?

— Иногда Роза двигается нормально, а иногда нет.

— Роза — это твоя мать?

— Да.

— Зовешь ее по имени?

— Да.

— А мамой не называешь?

— Нет.

Вибрация маленького холодильника в углу медпункта заставляла предположить нечто мертвое, стылое, но дрожащее. Первой мыслью было: нет ли там случайно бутылок с водой. *Agua con gas, agua sin gas*[1]. У меня навязчивая идея: как

---

[1] Примечания: 1

Вода с газом, вода без газа *(исп.)*.

бы научиться приносить матери более правильную воду.

Студент взглянул на часы.

— По инструкции, человек, обратившийся по поводу укуса медузы, должен пробыть здесь не менее пяти минут. Нужно удостовериться, что ему не угрожает сердечный приступ или какая-нибудь другая напасть.

Он снова указал на графу «род занятий», которую я так и не заполнила.

Вероятно, из-за того, что ожог нестерпимо болел, я стала рассказывать студенту свою жалкую, непримечательную жизнь.

— У меня на первом месте не работа, а забота: забота о Розе.

Во время моего рассказа он безостановочно водил пальцами по лодыжкам.

— Мы приехали в Испанию, чтобы попасть в клинику Гомеса и узнать, что у мамы с ногами. Первичный прием — через три дня.

— У твоей мамы паралич конечностей?

— Вряд ли. Мистика какая-то. Тянется уже давно.

Студент начал снимать полиэтиленовую пленку с ломтя белого хлеба. Я решила, что хлебный мякиш нужен для второго этапа лечения моего

ожога, но оказалось, это банальный сэндвич с арахисовым маслом, излюбленный ланч студента.

Откусив небольшой кусочек, он стал жевать; черная лоснящаяся борода пришла в движение. Да, клинику Гомеса он, как оказалось, знает. Репутация у нее хорошая; знает он и женщину, сдавшую нам небольшой прямоугольный домик на берегу. Это жилище мы выбрали из-за отсутствия лестниц. Там все на первом этаже: две спальни через стенку, рядом кухня; и, что немаловажно, оттуда рукой подать до главной площади, где находятся ресторанчики и местный супермаркет SPAR. В двух шагах от нас — школа дайвинга *Escuela de Buceo y Nautica*[2], кубической формы белое двухэтажное здание с окнами-иллюминаторами. В вестибюле сейчас ремонт. Каждое утро, грохоча большими жестяными ведрами белил, туда приходят двое рабочих-мексиканцев. На огороженной крыше школы, прикованная к железной перекладине, сидит на цепи тощая овчарка, которая круглые сутки воет. Ее хозяин Пабло, директор школы дайвинга, но Пабло днюет и ночует в своем компьютере за симулятором дайвинга — игрой под названием *Infinite scuba.*

---

[2] Примечания: 2
Школа дайвинга и плавания *(исп.).*

Обезумевшая собака гремит цепью и регулярно порывается спрыгнуть с крыши.

— Пабло никто не любит, — согласился студент. — Он из тех, кто цыпленка заживо ощиплет.

— Хорошая тема для полевого антропологического исследования, — сказала я.

— Какая?

— Почему никто не любит Пабло.

Студент поднял вверх три пальца. Я поняла, что в медпункте мне придется отсидеть еще три минуты.

Утром весь мужской персонал школы дайвинга ведет практическое занятие: учит будущих дайверов надевать гидрокостюм. Новичкам не по себе от воя посаженной на цепь овчарки, но первое задание ими выполнено. На втором занятии они научатся заливать через воронку бензин в пластмассовые баки, а потом перевозить их на электрокаре через полосу песка и загружать в лодку. Технология транспортировки довольно сложная, в отличие от той, которой довольствуется швед-массажист Ингмар, примерно в это же время расставляющий свою палатку. Насадив на ножки кушетки шарики для настольного тенниса, Ингмар заталкивает ее в шатер прямо

по песку. На овчарку Пабло массажист жалуется не кому-нибудь, а мне, как будто мое случайное соседство со школой дайвинга делает меня совладелицей несчастного животного. Во время сеансов ароматерапевтического массажа вой, лай, скулеж и попытки собачьего суицида не дают клиентам расслабиться.

Студент спросил, не отказало ли у меня дыхание.

Начинаю думать, что ему хочется задержать меня в медпункте еще дольше.

Он поднял один палец.

— Тебе осталось пробыть у меня еще одну минуту, после чего я обязан повторно спросить о твоем самочувствии.

Хорошо бы мне расширить свою жизнь.

Главное ощущение у меня такое: пусть я неудачница, но лучше уж работать в «Кофе-хаусе», чем наниматься проводить опросы среди покупателей, чтобы выяснить, почему они выбирают ту, а не другую стиральную машинку. Большинство моих однокурсников устроились этнографами в разные фирмы. Если этнография предполагает описание культуры, то маркетинговые исследования тоже не чужды культуре (в каких жилищах и в каких природных условиях обитают люди,

какой принцип лежит в основе распределения обязанностей по стирке белья среди членов общины), но, в конечном счете, такая деятельность все равно сводится к продаже стиральных машин. А что касается полевых исследований, я еще не уверена, что соглашусь ими заниматься даже в том случае, если мне поручат лежать в гамаке и наблюдать, как в тенечке пасутся священные буйволы.

Я не шутила, говоря, что тема «Почему никто не любит Пабло» подходит для серьезного полевого исследования.

А моя мечта умерла. Я приблизила ее кончину, когда оставила в Восточном Лондоне свою охромевшую мать в одиночку собирать груши в нашем саду, а сама упаковала вещички и уехала в университет. Там получила диплом с отличием. Столь же успешно продолжила обучение в магистратуре. И все-таки моя мечта умерла: с началом маминой болезни, когда я бросила аспирантуру. Файл с незавершенной диссертацией по сей день покоится за растрескавшейся заставкой моего ноута, как невостребованный труп самоубийцы.

Да, какие-то явления только ширятся (например, убожество моих жизненных целей), но не те, что хотелось бы. Лепешки, подаваемые в

«Кофе-хаусе», ширятся (уже стали размером с мою голову), рецепты ширятся (в каждом теперь столько информации, что он сам по себе становится полевым исследованием), а также мои бедра (от питания сэндвичами, сдобой…). А остаток на банковском счете ужимается, равно как и плоды маракуйи у меня в саду (при том, что гранаты растут не по дням, а по часам, равно как и загрязнение атмосферы, равно как и мой стыд за то, что пять раз в неделю я ночую в подсобке над «Кофе-хаусом»). В Лондоне я почти всегда в изнеможении валюсь на узкую детскую кровать и впадаю в ступор. Если опаздываю на работу, никогда не могу придумать отговорку. Но самая невыносимая часть моей трудовой деятельности — это посетители, которые вечно донимают меня просьбами разобраться в их компьютерных мышках и зарядных устройствах. Все посетители спешат куда-то дальше, а я убираю за ними посуду и пишу ценники на чизкейки.

Чтобы отвлечься от пульсирующей боли в предплечье, я затопала ногами. И тут заметила, что у бюстгальтера бикини лопнула завязка на шее и мои голые груди прыгают в такт притоптыванию. Завязка, по всей видимости, лопнула еще в воде, а это значит, что через весь пляж я неслась в стиле

топлес. Вот, наверное, почему во время разговора студент постоянно отводил глаза. Повернувшись к нему спиной, я занялась тесемками.

— Как твое самочувствие?

— Нормально.

— Можешь идти.

Когда я повернулась к нему лицом, его взгляд скользнул по моему новоприкрытому бюсту.

— Ты не заполнила графу «Род занятий».

Взяв карандаш, я написала: «ОФИЦИАНТКА».

Мама поручила мне выстирать желтое платье с подсолнухами, в котором она собиралась пойти в клинику Гомеса на первичный прием. Я не возражала. Мне нравится стирать вещи вручную, а потом развешивать на солнце для просушки. Место, куда ужалила меня медуза, опять стало пульсировать, хотя студент обильно смазал его каким-то средством. Лицо горело, но это, думаю, оттого, что я так долго не могла заполнить графу «Род занятий». Как будто ядовитое жало медузы прокололо, в свою очередь, пузырь с какой-то отравой у меня внутри. В понедельник моя мать предложит консультанту свои разнообразные симптомы, как набор причудливых канапе. А я буду держать поднос.

Вот и она. По пляжу идет прекрасная девушка-гречанка в бикини. Между ее телом и моим — тень. Время от времени ее ступни просто скользят по песку. С ней нет никого, кто нанес бы ей на спину лосьон для загара, чтобы она только приговаривала: да, вот здесь, нет, не здесь.

Доктор Гомес

Мы начали долгий путь к целителю. Таксист, вызванный, чтобы отвезти нас в клинику Гомеса, не мог взять в толк, почему мы так нервничаем и сколь многое поставлено на карту.

Мы начали новую главу в истории болезни ног моей матери и оказались в полупустыне на юге Испании.

Дело нешуточное. Чтобы оплатить лечение в клинике Гомеса, нам пришлось перезаложить дом Розы. По закладной мы получили двадцать пять тысяч евро, а потерять такую значительную сумму никому не хочется, тем более что мамины симптомы я отслеживала столько времени, сколько себя помню.

В течение лет двадцати из своих двадцати пяти я вела свои собственные наблюдения. Может, и дольше. В четыре года я спросила у мамы, что такое головная боль. Она объяснила: это как будто в голове хлопает дверь. Я научилась бойко читать мысли, а значит, ее голова стала моей. Там одновременно хлопает множество дверей, и я — главная тому свидетельница. Если я вижу

себя сыщиком поневоле, жаждущим правосудия, можно ли считать болезнь Розы нераскрытым преступлением? Если да, кто преступник, а кто жертва? Попытка разгадать причины и источник появления болей и ломоты в костях — хорошая тренировка для антрополога. Временами я думала, что стою на пороге великого открытия и знаю, где погребены останки, однако раз за разом терпела поражение. Как только у Розы появляется новый и совершенно загадочный симптом, ей прописывают новое и совершенно загадочное лекарство. В Великобритании врачи недавно прописали ее ногам антидепрессанты. По словам Розы, антидепрессанты предназначались именно для нервных окончаний ног.

Клиника Гомеса находилась вблизи городка Карбонерас, известного своим цементным заводом. Дорога должна была занять полчаса. Мы с мамой ехали на заднем сиденье и дрожали от холода, потому что кондиционер сравнял зной пустыни с лютой русской зимой. Водитель рассказал нам, что *carboneras* в переводе с испанского значит «угольная яма» и что здешние горы были некогда покрыты лесом, который вырубили ради производства угля. Все пошло «в топку».

Я попросила его выключить кондиционер.

Таксист заладил, что кондиционер ему не подчиняется, поскольку регулируется автоматически, но в порядке компенсации рассказал нам, где можно найти пляжи с кристально чистой водой.

— Лучший пляж — «Плайа де лос Муэртос». Всего-то в пяти километрах к югу от города. С горы нужно спуститься вниз, там ходу минут двадцать. С шоссе заехать невозможно.

Роза наклонилась вперед и дотронулась до его плеча:

— Мы приехали сюда потому, что у меня больные кости и я не могу ходить.

Она с неодобрением изучила пластмассовые четки, висевшие на зеркале заднего вида. Роза убежденная атеистка, в особенности с тех пор, как мой отец принял веру.

Губы у нее посинели от экстремального микроклимата.

— Что же касается Пляжа Мертвых, — дрожа, выговорила она, — я еще не готова туда отправиться, хотя куда приятней плавать в чистой воде, чем жариться в адской угольной топке, ради которой вырубаются все леса и оголяются все горы.

У нее вдруг прорезался сильный йоркширский

акцент — верный признак того, что она поглощена спором.

Но вниманием таксиста уже завладела севшая на руль муха:

— Вернуться вы хотите тоже на машине?

— Смотря какая в ней будет температура.

Когда в салоне потеплело, мамины тонкие синие губы вытянулись в подобие улыбки.

Мы вырвались из плена русской зимы; а шведскую можно было и потерпеть.

Я опустила окно. Всю почву скрывал белый пластик, в точности как описывал студент из медпункта. Фермерские хозяйства пожирали тусклую, больную кожу пустыни. Мои волосы развевались на горячем ветру и лезли в глаза. Роза положила голову мне на плечо, которое еще саднило после укуса медузы. Я не решалась пошевелиться, чтобы занять менее болезненное положение, потому что чувствовала мамин страх и вынужденно притворялась, что страха нет. Роза не могла уповать на Бога, которого можно попросить о милости или удаче. Справедливо будет сказать, что вместо этого она полагалась на человеческую доброту и болеутоляющие средства.

Когда такси въехало на окруженную пальмами территорию клиники Гомеса, нам открылся парк,

описанный в брошюре как «мини-оазис важного экологического значения». Под акациями, уткнувшись клювами друг в друга, покоились два диких голубя.

Здание клиники было встроено в опаленные солнцем горы. Спроектированное в форме купола из кремового мрамора, оно напоминало массивную, перевернутую вверх дном чашку. Я неоднократно разглядывала его в Гугле, но веб-страница не передавала ощущения покоя и комфорта, возникавшего здесь и сейчас, в реальном времени. Вход, по контрасту, был целиком из стекла. Вдоль всей окружности купола в изобилии росли колючие кустарники с пурпурными цветками и приземистые, переплетенные серебристые кактусы; их кольцо разрывалось только перед гравиевой площадкой, где такси припарковалось рядом с карликовым микроавтобусом местного сообщения.

Чтобы дойти от машины до входных дверей, нам с Розой понадобилось четырнадцать минут. Нас, похоже, ждали: двери бесшумно распахнулись — как чувствовали, что нам обеим хочется войти без лишних просьб.

При виде синевы Средиземного моря, сверкавшего под горой, я испытала умиротворение.

Когда дежурная вызвала сеньору Папастергиадис, я крепко взяла Розу под руку, и мы вместе заковыляли по мраморному полу к стойке. Да, заковыляли вместе. Мне двадцать пять лет, и я ковыляю вместе с матерью, чтобы не сбиваться с ритма. Мои ноги — это ее ноги. Таким манером мы обычно компанейски продвигаемся вперед. Так взрослые водят маленьких детей, которые еще вчера ползали, а взрослые дети сопровождают родителей, когда тем требуется опора. В то утро мама самостоятельно дошла до местного универсама SPAR и купила себе шпильки. Она даже не брала с собой тросточку. Сейчас мне расхотелось об этом думать.

У стойки мне указали на медсестру, которая поджидала с креслом-каталкой. С неподдельным облегчением я наконец-то передала Розу в надежные руки, а сама поспевала сзади, восхищаясь перехваченными атласной белой лентой длинными ухоженными волосами и покачиванием сестринских бедер. Этакая иноходь: бескомпромиссная, чуждая всякому страданию и родственной привязанности. Медсестра ступала сизыми замшевыми туфельками по мраморному полу, и при каждом шаге под каблуками словно хрустела яичная скорлупа. Остановившись у ка-

кой-то двери, на которой красовалась табличка из полированного дерева с золоченой надписью «Мр. Гомес», медсестра постучалась и стала ждать ответа.

Ногти ее сверкали густо-красным лаком.

Мы уехали очень далеко от дома. Очутиться в конце концов здесь, в лабиринтах этого коридора с янтарно-желтыми прожилками на мраморных стенах, оказалось сродни паломничеству, дающему последнюю надежду. Долгие годы британские врачи один за другим ломали голову над Розиным диагнозом, недоумевали, терялись в догадках, признавали поражение и умывали руки. Нынешняя поездка должна была поставить точку, и, думаю, мама прекрасно это понимала. Я услышала мужской голос, выкрикнувший что-то по-испански. Медсестра толкнула тяжелую дверь и жестом предложила мне ввезти кресло Розы в кабинет, будто говоря: «Дальше вы сами».

Доктор Гомес. Тот самый консультант-ортопед… не один месяц я старательно пробивала его по Сети. На вид слегка за шестьдесят, волосы серебрятся сединой, а от виска по всей левой стороне головы тянется поразительная чисто-белая дорожка. Костюм в тонкую полоску, загорелые руки, настороженный взгляд голубых глаз.

— Благодарю, Солнце, — сказал он сестре, будто для выдающегося врача, специалиста в области мышечно-скелетных заболеваний, в порядке вещей называть своих подчиненных именами небесных тел.

А его подчиненная застыла, держа дверь нараспашку и словно блуждая мыслями где-то на просторах Сьерра-Невады.

Повысив голос, доктор повторил по-испански:

— Gracias, Enfermera Luz del Sol[3].

На этот раз она затворила дверь. Я снова услышала цокот каблуков, вначале ровный, потом — с ускорением. Она припустила бегом. Прошло еще какое-то время, прежде чем стук каблуков перестал эхом отдаваться у меня в голове.

Доктор Гомес заговорил по-английски с американским акцентом.

— Прошу. Чем могу служить?

Роза изобразила недоумение:

— Я думала, вы сами скажете.

Доктор Гомес улыбнулся, обнажив ряд верхних зубов с золотыми коронками на резцах. Мне вспомнились зубы черепа, который нам, студентам-антропологам, показали на первом курсе,

---

[3] Примечания: 3

Спасибо, медсестра Солнечный свет *(исп.).*

попросив определить, чем питался этот человек. В зубах у наглядного пособия было полно дырок, так что питался бедняга, по всей видимости, сырым зерном. При ближайшем рассмотрении оказалось, что в одно дупло затолкали в качестве пломбы пропитанный кедровым маслом комочек ткани, чтобы облегчить боль и не допустить воспаления.

В тоне доктора Гомеса смутно угадывались дружелюбие и чопорность.

— Я просмотрел ваши справки, миссис Папастергиадис. Вы какое-то время заведовали библиотекой?

— Да. По состоянию здоровья не дотянула до пенсионного возраста.

— У вас пропало желание работать?

— Да.

— Значит, вы ушли не по состоянию здоровья?

— Скорее, по стечению обстоятельств.

— Понятно. — На его лице не отразилось ни скуки, ни интереса.

— Я занималась составлением каталогов, описанием и систематизацией печатных изданий, — пояснила она.

Доктор покивал и перевел взгляд на монитор. Пока мы ждали, чтобы его внимание переключи-

лось на нас, я огляделась по сторонам. Обстановка в кабинете первичного приема была строгой. Раковина. Функциональная кровать, рядом — серебристый рефлектор.

У дальней стены — книжный шкаф с фолиантами в кожаных переплетах. И тут я поймала на себе какой-то взгляд. Яркий, любопытствующий. С полки на середине стены таращилось чучело мартышки, втиснутое в стеклянный футляр. Застывшие глазки навечно устремились на человеческих собратьев.

— Миссис Папастергиадис, я смотрю, ваше имя Роза.

— Да.

«Папастергиадис» легко слетело у него с языка, точно он произнес «Джоан Смит».

— Вы позволите мне обращаться к вам «Роза»?

— Да, пожалуйста. В конце-то концов, это же мое имя. Родная дочь говорит мне «Роза», так что и для вас не вижу препятствий.

Доктор Гомес посмотрел на меня с улыбкой.

— Вы обращаетесь к матери «Роза»?

За три дня мне уже вторично задавали этот вопрос.

— Да, — коротко сказала я, как о чем-то несущественном. — Можно спросить, доктор Гомес: а

как нам с мамой следует обращаться к вам?

— Спрашивайте. Поскольку я консультант, меня принято называть мистер Гомес. Но это чересчур официально; нисколько не обижусь, если вы будете говорить мне просто Гомес.

— Так-так. Это полезно знать. — Мама подняла руку, чтобы проверить шпильку, на которой держался узел волос.

— Вам шестьдесят четыре года, миссис Папастергиадис?

Неужели он забыл, что получил разрешение обращаться к ней по имени?

— Шестьдесят четыре; еду с ярмарки.

— Значит, дочку вы родили в тридцать девять лет?

Роза кашлянула, словно прочищая горло, покивала и еще раз кашлянула. Гомес тоже откашлялся. Прочистив горло, он погладил белую дорожку волос. Роза шевельнула правой ногой и застонала. Гомес шевельнул левой ногой и застонал.

Уж не знаю, то ли он копировал мою мать, то ли просто насмешничал. Если они перешли на язык стонов, кашля и вздохов, мне с трудом верилось в их взаимопонимание.

— Рад приветствовать вас у себя в клинике,

Роза.

Он протянул руку. Мама подалась вперед, будто собиралась ее пожать, — но передумала. Докторская рука застыла в воздухе. Как видно, невербальное общение не вызывало маминого доверия.

— София, дай мне бумажную салфетку, — сказала она.

Выполнив это распоряжение, я вместо мамы ответила Гомесу рукопожатием. Ее рука — моя рука.

— А вы — миз Папастергиадис? — Он произнес это с нажимом; получилось «миззз».

— София — моя единственная дочь.

— А сыновья есть?

— Говорю же: она у меня единственная.

— Роза. — Он улыбнулся. — Сдается мне, вы сейчас расчихаетесь. В воздухе сегодня летает пыльца? Или что-нибудь другое?

— Пыльца? — Роза надулась. — Здесь пустынный климат. Даже цветы, какими я их себе мыслю, тут не растут.

Следом за ней надулся и Гомес.

— Я потом организую для вас экскурсию по нашему парку и покажу цветы, каких вы себе не мыслите. Пурпурный кермек, заросли юбы

с великолепными колючими ветками, красноплодный можжевельник и другие растения, доставленные на радость вам из закустаренной местности близ Табернаса.

Подойдя к инвалидному креслу, он опустился на колени у ног моей матери и заглянул ей в глаза. Она расчихалась.

— Дай еще салфетку, София.

Я повиновалась. Теперь она держала две бумажные салфетки, по одной в каждой руке.

— После чихания у меня вечно начинается боль в районе локтя, — объяснила мама. — Острая, раздирающая боль. Пока чихаю, приходится поддерживать одну руку другой.

— Где болит?

— С внутренней стороны локтя.

— Благодарю. Мы проведем полное неврологическое обследование, включая обследование черепно-мозговых нервов.

— Кроме того, у меня хронические боли в суставах пальцев левой руки.

В ответ Гомес пошевелил пальцами левой руки в сторону мартышки, точно призывал ее сделать то же самое.

Через некоторое время он повернулся ко мне.

— Замечаю фамильное сходство. Только вы,

миззз Папастергиадис, темнее. У вас бледная кожа. Но волосы почти черные. А у вашей матери — светло-каштановые. У вас нос длиннее. Глаза карие. А у вашей матери — голубые, совсем как у меня.

— Мой отец — грек, но родилась я в Британии.

Я не знала: «бледная кожа» — это оскорбление или комплимент?

— Тут мы с вами похожи, — сказал он. — У меня отец испанец, а мать американка. Вырос я в Бостоне.

— Почти как мой ноутбук. С той лишь разницей, что в Америке он был только в проекте, а на свет появился в Китае.

— Да, определить национальную принадлежность всегда непросто, миззз Папастергиадис.

— А я родилась близ Гулля, в Йоркшире, — неожиданно заявила Роза, видимо, беспокоясь, как бы о ней не забыли.

Когда Гомес потянулся к ее правой ноге, Роза вручила ему свою ступню, как дар. Большим и указательным пальцами он, под нашими с мартышкой бдительными взорами, стал поочередно сжимать своей пациентке пальцы на ноге. Потом скользнул большим пальцем к лодыжке.

— Это таранная кость. А перед тем я пальпиро-

вал фаланги. Вы чувствуете мои пальцы?

Роза помотала головой.

— Ничего не чувствую. Ноги онемели.

Гомес кивнул, будто наперед знал правду.

— А вообще как ваш настрой? — осведомился он, как будто так называлась кость: «настрой».

— Вполне себе неплох.

Я наклонилась, чтобы поднять мамины туфли.

— Прошу вас, — вмешался Гомес. — Не трогайте.

Теперь он ощупывал мамину правую подошву.

— Здесь у вас язвочка, и здесь тоже. На диабет проверялись?

— А как же, — ответила мама.

— Область поражения невелика, но ранка уже инфицирована. Этим займемся безотлагательно.

Роза мрачно кивнула, но осталась довольна.

— Диабет! — воскликнула она. — Вот, наверное, где корень всех зол.

Видимо, не желая развивать эту тему, доктор поднялся с пола и направился к раковине, чтобы вымыть руки. Повернувшись ко мне, он не глядя потянулся за бумажным полотенцем.

— Вам, очевидно, будет интересно ознакомиться с архитектурой моей клиники?

Мне *уже* стало интересно. Я сказала ему, что, по

моим сведениям, древнейшие куполообразные сооружения возводились из бивней и костей мамонтов.

— Да-а-а. А ваш береговой домик — параллелепипед. Но зато с видом на океан…

— Это как раз недостаток, — вмешалась Роза. — Про себя я говорю, что мы живем «в бруске на песке». К дому примыкает бетонированная терраса, которая считается частной собственностью, но таковой не является, поскольку расположена аккурат на пляже. Моя дочь готова сидеть там с компьютером сутки напролет, чтобы только не находиться рядом со мной.

Роза пошла вразнос: она решила огласить весь список своих претензий.

— По вечерам на пляже устраивают детские представления. Сплошной шум и гам! В ресторанах гремят посудой, горланят туристы, тарахтят мопеды, дети вопят, взрываются петарды. Выйти к морю я не могу, разве что София на каталке подвезет, и вообще там жара нестерпимая.

— В таком случае мне придется сделать так, чтобы море пришло к вам, миссис Папастергиадис.

Роза прикусила нижнюю губу передними зубами и некоторое время удерживала ее в таком положении. Затем отпустила.

— На мой вкус, вся ваша южно-испанская кухня очень тяжела для желудка.

— Горестно это слышать. — Его голубой взгляд опустился на область ее желудка, словно бабочка на цветок.

За последние несколько лет моя мать сбросила вес. Она усыхала и, похоже, становилась ниже ростом: платья, раньше доходившие ей до колена, теперь свисали чуть не до щиколоток. Мне приходилось напоминать себе, что она — интересная дама зрелых лет. Ее волосы, всегда собранные в низко уложенный пучок, державшийся на одной шпильке, составляли отдельную статью расходов. Каждые три месяца, когда в них проступало серебро, модный парикмахер, которому не было равных в окраске волос, делал маме блондирование на фольгу; в свое время у этого же мастера она обрилась под ноль. А потом агитировала и меня сделать то же самое, чтобы избавиться от старомодных черных локонов, которые начинали виться мелким бесом, если я попадала под дождь, то есть очень часто.

В том, что парикмахер обрил ей голову наголо, мне виделся недоступный для меня ритуал. Я уже стала думать, что мама в традициях индуизма сочла свои волосы грузом прошлого, а избавление

от них — шагом к будущему, но мне она твердила (с квадратиком фольги в зубах), что обрилась лишь для того, чтобы не знать ни хлопот, ни забот. Впрочем, на меня груз волос давил менее всех остальных проблем.

— София-Ирина, располагайтесь.

Гомес похлопал по спинке компьютерного стула. У него вошло в привычку называть меня полным именем, как записано в паспорте. Когда я последовала его указанию, он развернул ко мне экран монитора и показал черно-белое изображение, над которым стояло имя моей матери: «Р. Б. ПАПАСТЕРГИАДИС (ж.)».

Теперь он возвышался у меня за спиной. Я вдыхала горьковатый травяной запах его мыла для рук — вероятно, шалфейного.

— Здесь в высоком разрешении выведен рентгеновский снимок позвоночника вашей матери. Обратная проекция.

— Вижу, — сказала я. — Эти снимки прислали вам из Великобритании по моей просьбе. Они уже устарели.

— Разумеется. Для сравнения будут сделаны новые. Мы ищем аномалии, любые отклонения. — От экрана палец переместился на кнопку небольшого серого радиоприемника, стоящего на

письменном столе. — Прошу прощения, — сказал он. — Хочу послушать, как внедряется программа строгой экономии.

Мы стали слушать новости на испанском языке, то и дело перемежавшиеся комментариями Гомеса, который сообщил нам даже имя финансового обозревателя этой радиостанции. Когда Роза уже начала хмуриться, будто вопрошая: что, собственно, тут происходит — и вообще, врач он или кто? — Гомес сверкнул золотыми зубами.

— Да, я определенно врач, миссис Папастергиадис. Сегодня планирую обсудить с вами курс лечения. Естественно, я располагаю необходимой информацией, но хочу услышать из ваших уст, какие препараты вас устраивают, а от каких вы готовы отказаться. Кстати, вам будет приятно узнать, что в большинстве регионов Испании ожидается сухая, солнечная погода.

Роза поерзала в кресле-каталке.

— Будьте добры, стакан воды.

— Пожалуйста.

Отойдя к раковине, Гомес наполнил пластиковый стаканчик и подал моей маме.

— А не опасно пить воду из-под крана?

— Нет-нет.

Я наблюдала, как мама крошечными глоточ-

ками потягивает мутную воду. Может, это и есть нормальная вода? Гомес попросил пациентку высунуть язык.

— Вы серьезно? Зачем вам мой язык?

— Язык является мощным визуальным индикатором общего состояния организма.

Роза подчинилась.

Сидя ко мне спиной, Гомес шестым чувством угадал, что я разглядываю чучело мартышки.

— Это танзанийская верветка. Ее убила опора высоковольтной линии, а один мой пациент отвез тельце таксидермисту. После некоторых колебаний я все же принял этот сувенир, так как у верветок много общего с человеком: например, они страдают от повышенного давления и тревожных расстройств. — Он все еще сосредоточенно смотрел на мамин язык. — У этого чучела мы не видим синеватой мошонки и красного полового члена. Думаю, их удалил таксидермист. А нам остается только воображать, как этот мальчуган резвился в древесных кронах со своими братьями и сестрами. — Он легонько постукал маму по колену, и язык сам собой шмыгнул обратно в рот. — Спасибо, Роза. Вы правильно сделали, что попросили воды. Я вижу, ваш язык указывает на обезвоживание.

— Да, мне вечно хочется пить. А София ленится перед сном поставить мне на тумбочку стакан воды.

— Из какой части Йоркшира вы родом, миссис Папастергиадис?

— Из Уортера. Это деревня в пяти милях к востоку от Поклингтона.

— Из Уортера, — повторил, обнажив золотые зубы, Гомес и повернулся ко мне. — Очевидно, София-Ирина, вы бы не прочь освободить нашего маленького кастрата-примата, чтобы он попрыгал по кабинету и почитал мое собрание ранних изданий Сервантеса. Но прежде вы должны освободить саму себя. — Голубизна его глаз могла бы не хуже луча лазера пронзить даже камень. — А теперь мне необходимо побеседовать с миссис Папастергиадис и наметить курс лечения. Такие вопросы обсуждаются наедине.

— Нет. Пусть дочь останется. — Роза постучала костяшками пальцев о подлокотник инвалидного кресла. — Я не собираюсь отказываться от своих лекарств, находясь в чужой стране. А София — единственный человек, кто знает их наперечет.

Гомес погрозил мне пальцем.

— Не томиться же вам два часа в вестибюле.

Зачем? Вам нужно сесть в маленький автобусик, отходящий прямо от дверей моей клиники. Он доставит вас на пляж в Карбонерасе. До города каких-то двадцать минут езды.

Похоже, Розу это возмутило, но Гомес не обращал внимания.

— София-Ирина, предлагаю вам отправиться без промедления. Сейчас полдень, увидимся в два.

— Мечтаю искупаться, это такое удовольствие, — сказала мама.

— Об удовольствиях мечтать не вредно, миссис Папастергиадис.

— Ах, если бы, — вздохнула Роза.

— «Если бы» что? — Опустившись на колени, Гомес приложил стетоскоп к ее сердцу.

— Если бы только у меня была возможность плавать и загорать.

— Да, это было бы так чудесно.

И вновь у меня возникли сомнения. Выражался он туманно. Туманно-издевательски и туманно-дружески. Что слегка выходило за рамки общепринятого. Протянув руку, я сжала мамины пальцы. Хотела с ней попрощаться, но Гомес сосредоточенно слушал тоны сердца. Пришлось просто чмокнуть ее в макушку.

У мамы вырвалось:

— Ой!

Зажмурившись, она запрокинула голову, словно в агонии… а может, в экстазе. Трудно было понять.

* * *

Когда я добралась до безлюдного пляжа напротив цементного завода, солнце как осатанело. Я направилась к маленькой кафешке близ вереницы газовых баллонов и заказала приветливому бармену джин с тоником. Указав пальцем на море, он предупредил меня, что купаться нельзя: с утра троих человек сильно ужалили медузы. Он сам видел, как рубцы у них на руках и ногах побелели, а затем побагровели. Скорчив гримасу, он зажмурился и замахал руками, как будто хотел прогнать океан вместе со всеми медузами. Газовые баллоны смахивали на диковинную пустынную флору, вырастающую из песка.

У горизонта замаячил большой промышленный сухогруз под греческим флагом. Я перевела взгляд на детские качели, ржавые стойки которых были загнаны в грубый песок. Сиденьем служила видавшая виды автомобильная покрышка; она бесшумно раскачивалась, словно с нее только

что соскочил ребенок-призрак. Небо разрезали кран-балки опреснительных установок. С правой стороны к пляжу примыкала территория склада с волнообразными зеленовато-серыми дюнами цемента, а дальше в склон горы вжимались, словно жертвы расстрела, недостроенные гостиницы и жилые дома.

Я проверила телефон. Там болталось старое сообщение от Дэна — мы с ним вместе работали в «Кофе-хаусе». Он спрашивал, куда я подевала маркер для ценников на сэндвичи и выпечку. Дэн из Денвера пишет мне в Испанию насчет какого-то маркера? Пригубив джин с тоником из высокого стакана и благодарно кивнув бармену, я стала думать, куда, в самом деле, мог подеваться этот маркер.

Расстегнув молнию на платье, я подставила плечи солнцу. То место, куда меня ужалила медуза, заживало, но время от времени кожу саднило. Боль была терпимой. В каком-то смысле уже не боль, а облегчение.

Еще одно сообщение от Дэна, более свежее. Маркер нашелся. Оказывается, Дэну взвинтили плату за съемную квартиру, и, пока я в Испании, он решил перекантоваться у меня в чулане над «Кофе-хаусом». Там, в постельном белье, и

обнаружился маркер. Со снятым колпачком. Естественно, простыня и пуховое одеяло с пододеяльником пропитались черной тушью. На самом деле в сообщении говорилось: «Маркер обескровлен».

И как теперь Дэн будет писать?

Чизкейк-амаретто «София», горько-сладкий — здесь £ 3.90, с собой £ 3.20.

Пирожное из поленты апельсиновое «Дэн», с пропиткой (без пшеницы, без глютена) — здесь £ 3.70, с собой £ 3.

Я — горько-сладкая.

Дэн, определенно, с пропиткой.

Пирожные мы сами не печем, но хозяйка говорит, что посетители охотнее раскошелятся, если поверят в обратное. Вот мы и даем свои имена десертам, не имеющим к нам никакого отношения. Я рада, что лживый маркер обескровлен.

Теперь вспоминаю: маркер я взяла в постель для того, чтобы выписать одну цитату из Маргарет Мид, антрополога и культуролога. Цитату записала прямо на стене.

> «Я говорила своим студентам, что для постижения себя есть следующие способы: наблюдение за младенцами;

наблюдение за животными; наблюдение за представителями первобытных культур; прохождение сеансов психоанализа; обращение к вере и преодоление оной; психотический эпизод и преодоление оного».

В цитате пять точек с запятой. Помню, как я ставила на стене эти;;;;; черным маркером. И еще двойной чертой подчеркнула «обращение к вере».

Мой отец обратился к вере, но, насколько мне известно, не преодолел оной. К слову: он вступил в брак с женщиной всего на четыре года старше меня, и у них новорожденный ребенок. Жене двадцать девять лет. Ему шестьдесят девять. За несколько лет до их знакомства он получил солидное наследство от деда, афинского судовладельца. Должно быть, расценил это как знак того, что он стал на путь истинный. Как раз когда его страна оказалась на грани банкротства, Бог даровал ему деньги. И любовь. И новорожденную дочку. Отца я не видела с четырнадцати лет. Он не нашел причин расстаться ни с одним евро из своего благоприобретенного богатства, так что я попала в зависимость от матери. Она — мой кре-

дитор, а я расплачиваюсь с ней своими ногами. Гоняет она их в хвост и в гриву.

Для утверждения займа на оплату лечения в клинике Гомеса Розе пришлось взять меня с собой на собеседование к ипотечному оператору.

На все утро я отпросилась с работы, а значит, за три часа потеряла восемнадцать фунтов тридцать пенсов. Лил дождь; банковская красная ковровая дорожка промокла. Кругом были расклеены плакаты со словами о том, как много значит для банка наше благополучие; можно подумать, главная забота этого учреждения — права человека. Сидевший за компьютером молодой человек был обучен проявлять жизнерадостность и дружелюбие; изображать — в меру своего понимания — участливость; быть открытым и энергичным; любить свой нелепый красный галстук с логотипом банка. На красном бейдже значились его имя и должность, но уровень заработной платы там не фигурировал — видимо, где-то в районе честной бедности. Клерк старался находить к нам индивидуальный подход; объективно оценивать наше положение; разговаривать простым и понятным языком. С плаката на нас взирала тройка отталкивающих банковских служащих; все они смеялись. Женщина была изображена

в строгом костюме (пиджак с юбкой), мужчины — также в костюмах (пиджаки с брюками), их посыл передавал черты нашего с ними сходства и стирал наши различия: дескать, мы — разумные мечтатели с плохими зубами, в точности как вы; нам всем требуется отдельное жилье, чтобы ссориться с домашними только в Рождество.

Я понимала, что эти плакаты — обряд посвящения (в собственность, во вложение денег, в долги) и что эти корпоративные костюмы сообщают о принесении в жертву сложных гендерных различий. На другом плакате была фотография аккуратного двухквартирного дома и палисадника размером с могилку. Цветов в палисаднике не было, только новенький газон. Вид у него был заброшенный. Квадраты дерна еще как следует не срослись. Можно подумать, слева от этажа, который пристраивался для нас, затаился какой-то параноик. Он срезал все цветы и убил домашних животных.

Наш клерк заговорил оживленным, но механическим тоном. Для начала он сказал: «Привет, девушки» — хорошо еще, что не «Здравствуйте, дамы», а потом пустился перечислять банковские продукты, доступные для лишения меня наследства. В какой-то момент он спросил у моей

матери, ест ли она бифштексы. Этот вопрос был задан не к месту, но мы поняли глубинный смысл (не роскошествуем ли мы?), а потому Роза ответила, что придерживается веганства, поскольку считает нужным отстаивать более гуманный и заботливый мир. А когда ее тянет на излишества, может добавить в дхал и рис по столовой ложке йогурта. Клерк не знал, что веганы не употребляют в пищу молочные продукты, иначе Роза выпала бы из красного банковского кресла на первом же препятствии. Дальше он спросил, любит ли она дизайнерскую одежду. Мама ответила, что любит только дешевые, грубые вещи. Есть ли у нее абонемент в спортзал? Странный вопрос, учитывая, что пришла она с тростью и с перебинтованными отечными лодыжками, против которых были бессильны противовоспалительные и болеутоляющие, запиваемые каждое утром стаканом не той воды.

Молодой человек попросил предъявить акт риелторской оценки нашей собственности и сообщил, что к нам наведается их штатный земельный инспектор. Компьютер одобрил все предоставленные нами на тот момент сведения, потому что моя мать полностью выплатила ипотеку. Недвижимость в Лондоне все же чего-то

стоит, хотя викторианская кладка держится на слюне, моче и клейкой ленте. Клерк сказал, что склонен утвердить наш заем. Мама пришла в радостное возбуждение от предстоящего медицинского приключения: для нее клиника Гомеса была сопоставима с наблюдением за китами. Я побежала на работу варить три вида эспрессо, а Роза вернулась домой, чтобы обновить список болей и болезней. Не стану отрицать: ее симптомы представляют для меня культурологический интерес, хотя и тянут к земле вместе с нею. Ее симптомы говорят сами за себя. Болтают без умолку. Даже я это знаю.

Я шла через раскаленный песчаный берег, чтобы пошлепать по воде и охладить ноги.

Порой замечаю, что при ходьбе начинаю прихрамывать. Ощущение такое, словно мое тело помнит, как я хожу с мамой. Память не всегда надежна. Она не сообщает всей правды. Даже я это знаю.

В клинику вернулась в четверть третьего; Роза, пересевшая из каталки в обычное кресло, читала свой гороскоп в газете для английских экспатов.

— Здравствуй, София. Вижу, ты всласть понежилась на пляже.

В ответ я сказала, что на пляже не было ни

души и что мне пришлось два часа таращиться на газовые баллоны. Я развила в себе особое искусство делать свой день короче, а мамин за счет этого длиннее.

— Ты посмотри на мои руки, — сказала она. — Сплошной синяк от анализов крови!

— Бедняжка.

— Да, я бедняжка. Доктор отменил три моих лекарства. Три!

Мама скривила рот, чтобы напустить на себя притворно-плаксивое выражение, и помахала газетой Гомесу, который не столько спешил в нашу сторону, сколько прогуливался по мраморному полу.

По его словам, у моей матери обнаружен хронический дефицит железа, что может быть причиной упадка сил. В дополнение к прочим средствам, таким, как повязки с сульфадиазином серебра для заживления язв стопы, он прописал витамин B_{12}.

Рецепт на витамины. И это — за двадцать пять тысяч евро?

Роза перечисляла таблетки, исключенные из ее медицинского ритуала. Она словно оплакивала ушедших друзей. Подняв руку, Гомес помахал сестре Солнце, идущей по направлению к нему

на сизых замшевых каблучках. Когда она поравнялась с ним, он развязно обнял ее за плечи, а она стала возиться с часиками, приколотыми у нее над правой грудью. На стоянку только что въехала машина «Скорой помощи». Медсестра по-английски сообщила доктору, что водителя нужно отпустить на обед. Доктор кивнул и убрал руку, чтобы сестре было удобнее придерживать часики.

— Медсестра Солнце — моя дочь, — объявил он. — В действительности ее зовут Джульетта Гомес. Не стесняйтесь, называйте ее, как вам больше нравится. Сегодня у нее день рождения.

Джульетта Гомес впервые улыбнулась. У нее были ослепительно белые зубы.

— Мне исполнилось тридцать три. Официально вышла из детства. Пожалуйста, зовите меня Джульетта.

Гомес не сводил с дочери глаз разного оттенка голубого цвета.

— Думаю, вам известно, что в Испании высок уровень безработицы, — сказал он, — в данный момент где-то двадцать девять и шесть десятых процента. Мне повезло, что моя дочь получила основательную медицинскую подготовку в Барселоне и является самым уважаемым физио-

терапевтом в Испании. А это означает, что я могу слегка злоупотребить своим положением, чтобы дать ей работу в моем мраморном дворце.

Широким королевским жестом он распростер свои руки в тонкую полоску, будто собирался прижать к груди изогнутые стены и цветущие кактусы, и сверкающую новенькую «скорую», и медрегистраторов, и прочих медсестер, и пару врачей-мужчин, которые, в отличие от Гомеса, ходили в форменных голубых футболках и новехоньких кроссовках.

— Этот мрамор добыт в недрах Кобдара. Его цвет напоминает мне бледную кожу моей покойной жены. Да, я построил эту клинику как дань памяти матери моей дочки. Весной нас очаровывают сонмы бабочек, которых привлекает купол здания. Они всегда поднимают настроение больным. Кстати, Роза, быть может, вам захочется увидеть статую Девы Марии Розарио. Она изваяна из чистейшего мрамора, добытого в горах Макаэля.

— Я атеистка, мистер Гомес, — сурово сказала Роза. — И не верю, что рожавшие женщины остаются девственницами.

— Но, Роза, она изваяна из нежнейшего мрамора цвета материнского молока. Белого с легкой

желтинкой. Вероятно, скульптор просто воздавал должное грудному вскармливанию. Интересно, называл ли Пресвятую Деву по имени ее единственный сын?

— Не имеет значения, — сказала Роза. — Так или иначе, все это выдумки. И, кстати, Иисус называл свою мать «женщиной». На древнееврейском это означает примерно то же, что «мадам».

Откуда ни возьмись появилась сотрудница регистратуры и заговорила с Гомесом, быстро-быстро тараторя по-испански. Она принесла с собой раскормленную белую кошку и теперь опустила ее на пол рядом со сверкающими черными штиблетами Гомеса. Когда кошка стала ходить кругами у его ног, он опустился на колени и протянул к ней руку.

— Джодо — моя истинная любовь, — сказал доктор. Кошка потерлась мордочкой о подставленную ладонь. — Она такая ласковая. Жаль, что у нас нет мышек — ей целыми днями совершенно нечем заниматься, кроме как ластиться ко мне.

Мама расчихалась. После четвертого раза она накрыла один глаз рукой.

— У меня аллергия на кошек.

Гомес засунул мизинец в рот Джодо.

— Десны должны быть плотными и розовыми;

у Джодо в этом отношении все в порядке. Вот только животик немного припух. Беспокоюсь, нет ли у нее заболевания почек.

Выудив из кармана аэрозоль, Гомес распылил на руки дезинфицирующее средство; между тем Джульетта осведомилась, не закапать ли Розе глазные капли от зуда.

— Да, пожалуйста.

Нечасто от моей мамы можно услышать «пожалуйста». Можно подумать, ей предложили коробку шоколада.

Джульетта Гомес достала из кармана маленький белый пластмассовый флакончик.

— Это антигистаминный препарат. Я только что помогла другой пациентке с той же проблемой.

Подойдя к Розе, она вздернула ей подбородок и выдавила по две капли в каждый глаз.

Теперь у мамы был манерно-слезливый, укоризненный вид, как будто слезы подступили к глазам, но еще не покатились по лицу.

Кошку Джодо унесла одна из санитарок.

Сестра Солнце, а в действительности Джульетта, не проявляла ни дружелюбия, ни враждебности. Она держалась буднично, по-деловому, безмятежно. В ней не было отцовского энтузиазма, но при этом я заметила, что она очень

внимательно прислушивается к Розе, хотя и не подает виду. Теперь я совсем иначе расценивала ее промедление в дверях кабинета. Вероятно, не так уж далеко блуждали ее мысли, как мне показалось. Проявив наблюдательность, она предложила мне помощь: застегнуть платье, которое я распахнула на пляже.

Деликатно повозившись с молнией, Джульетта положила руки на свою осиную талию и сообщила, что за нами приехало такси.

— До свидания, Роза. — Гомес энергично потряс ее руку. — Между прочим, вам бы надо самостоятельно управлять взятой для вас напрокат машиной. Она включена в стоимость моих услуг.

— И как я смогу ею управлять? У меня же отсутствует чувствительность в ногах. — Роза опять сделала оскорбленное лицо.

— С моего разрешения. Прямо в следующий раз и заберете. Нужно еще оформить кое-какие документы, но машина будет ждать вас на парковке.

Джульетта обняла мою мать за плечи.

— Если у вас возникнут трудности с вождением, пусть София нам позвонит, и мы за вами приедем. У нее записаны все контактные телефоны.

Определенно, клиника Гомеса представляла

собой семейный бизнес.

Нам не только собирались подогнать автомобиль; Гомес проинформировал мою мать, что с удовольствием сводит ее в ресторан пообедать. Попросив Джульетту внести в ежедневник это мероприятие на дату, наступающую через два дня, он склонил серебристую голову и повернулся на каблуках, чтобы поговорить с одним из молодых докторов, поджидавших у мраморной колонны.

Когда мы с Розой хромали в сторону такси, я спросила, какие упражнения порекомендовал ей Гомес.

— Физических упражнений — никаких. Он попросил меня написать письмо с перечислением всех моих врагов. — Мама щелкнула замочком сумки и стала бороться с бумажным носовым платком, угодившим в пряжку.

— Знаешь, София, когда сестра Солнце… или Джульетта Гомес… или как там ее… наклонилась, чтобы закапать в мне глаза, я определенно почувствовала запах спиртного. Если честно, она дохнула на меня водкой.

— Ну, ничего удивительного, у нее же сегодня день рождения, — сказала я.

Под нами безмолвствовала гора.

Эта греческая девушка — лентяйка. У них в пляжном домике окна грязные, а она пальцем не пошевелит. Двери вечно не заперты. Это небрежность. Как приглашение. Как езда на велосипеде без шлема — точно такая же небрежность. Приглашение получить тяжелую травму при любой аварии.

Леди и джентльмены

Еще только восемь утра, а пес на крыше школы дайвинга уже гремит цепью. Встав на задние лапы, он поднимает бурую голову в струпьях над ограждением солярия и рычит сверху вниз на пляжную жизнь. Пабло орет на двух маляров-мексиканцев. А они не могут ответить ему тем же, потому что у них не выправлены документы и нет возможности показать ему средний палец. Чем громче воет пес, тем громче орет Пабло.

Сегодня я намерена освободить собаку Пабло.

Иду в кафе «Плайя», что рядом со школой дайвинга, и заказываю свой любимый кофе, кортадо. Естественно, мне хочется посмотреть, как там вспенивают молоко, поскольку в «Кофе-хаусе» меня обучали этому искусству целых шесть дней. Черные волосы бармена уложены гелем так, чтобы торчали во все стороны. Эти волосы всячески издеваются над силой земного притяжения. Я могла бы созерцать их часами, вместо того чтобы освобождать собаку Пабло. Кортадо здесь готовят с молоком длительного хранения; другое в пустыне редкость. Данный сорт молока характе-

ризуется как «коммерчески стабильный».

«Мы далеко ушли от подойника с парным молоком под коровьим выменем. Мы теперь далеко от дома», — так сказала мне тихим и печальным голосом хозяйка «Кофе-хауса» в мой рабочий день. А я до сих пор об этом думаю. И хочу понять, как мыслит она. Дом — там, где парное молоко?

Инструкторы по дайвингу везут по песку пластмассовые канистры с бензином и кислородные баллоны. Лодка ждет на огороженном канатами участке моря. Когда же выдастся удобная минута, чтобы освободить собаку Пабло?

Я отправляюсь на поиски женского туалета и волей-неволей прохожу мимо записного деревенского алкоголика, который взял себе к утреннему коньяку порцию ярко-оранжевых чипсов. Вход в женский туалет (Senoras) напоминает распашные двери салуна, белые и щелястые, словно из фильма про ковбоев. Я видела такие в вестернах, где хозяин с подозрением разглядывает входящего своенравного чужака. Пока я писаю, кто-то занимает соседнюю кабинку. Через щель между полом и перегородкой видно, что это мужчина. Обут в черные кожаные полуботинки с золотой пряжкой на боку. Полное впечатление, что он меня караулит. Стоит неподвижно, я слышу его

дыхание, а ступни не шевелятся. Притаился. У меня вдруг возникает ощущение, что за мной подглядывают. Наверняка он видит меня с задранной юбкой. А с чего бы еще ему там стоять? Выжидаю несколько секунд, чтобы он ушел или хотя бы шевельнулся, а когда не происходит ни того, ни другого, на меня нападает мандраж. Побыстрому одернув юбку, распахиваю салунную дверь и бегу к бармену.

Тот занят: управляется с кофе-машиной, делает тосты и одновременно выжимает апельсиновый сок.

— Извините, но в женский туалет зашел мужчина.

Бармен хватает полотенце, висящее у него на плече, и вытирает стальной вспениватель, с которого капает молоко. Затем оборачивается, снимает с решетки гриля черствые багеты и отправляет на тарелку.

— Что?

У меня трясутся поджилки. Не знаю, отчего я так перетрусила.

— В Senoras зашел мужчина. Он подсматривал за мной из-под двери. Возможно, у него с собой нож.

Бармен досадливо мотает головой; ему не с

руки отходить от автомата, где под стальными трубками выстроились в ряд чашки и стаканы. Не так-то просто готовить разные виды кофе — для каждого требуется особой формы чашка или стакан.

— А может, это вы, сеньорита, зашли в Caballeros? Они же рядом.

— Нет. Мне кажется, он опасен.

Бармен торопливо идет со мной туда, где под грубо намалеванным красным кружевным веером написано Senoras, и пинком распахивает дверь.

У раковины стоит молодая женщина и моет руки. Примерно моего возраста, в обтягивающих синих шортах. Светлые волосы заплетены в толстую косу. Бармен спрашивает по-испански, не видела ли она в Senoras мужчину. Она мотает головой и продолжает мыть руки; бармен сапогом распахивает дверь в кабинку.

— Единственный мужчина здесь — это вы, — указывает ему посетительница. Она говорит с немецким акцентом.

Пристыженно уставившись в пол, я замечаю, что блондинка обута в те самые мужские штиблеты. Черные, кожаные, с золотой пряжкой на боку. Потеряв дар речи, я заливаюсь краской, и на меня

повторно накатывает все тот же мандраж. Вскинув руки, бармен с сердитым топотом выходит из Senoras, оставляя меня наедине с этой девушкой.

Мы обе молчим; чтобы хоть чем-то заняться, тоже начинаю мыть руки, но потом не могу сообразить, как выключить воду. Незнакомка хлопает по крану ладонью, и струя воды иссякает. Поднимаю взгляд, смотрю в зеркало над раковиной и вижу, что меня разглядывают чуть раскосые зеленые глаза. Да, она моя ровесница. Брови густые, почти черные. Волосы золотистые.

— Это мужские танцевальные туфли, — сообщает она. — Откопала их в винтажном магазине на горке. Я там летом подрабатываю.

Мокрыми пальцами я тереблю волосы. Она, спокойная и невозмутимая, стоит передо мной, а у меня волосы начинают виться мелким бесом.

— Латаю, вышиваю. Мне эти туфли бесплатно достались. — Она дергает кончик шелковистой косы. — Пару раз видела тут вас с матерью.

Над деревенской площадью гремит усиленный динамиками мужской голос. Сидящий в своем грузовичке торговец арбузами, как видно, не в духе: он беспрестанно сигналит.

— Да. Мама лечится в здешней клинике.

Бубню, как последний лузер. Почему-то мне

хочется произвести на нее впечатление, но значительности не хватает. Сердце все так же колотится, футболка залита водой.

Незнакомка рослая, худая. На загорелых руках пара серебряных браслетов.

— Мы с другом снимаем тут дом, — говорит она. — Летом почти каждый год сюда приезжаем. Сегодня мне в магазине кучу заказов надавали. А вечером поедем в Родалквилар ужинать. Я люблю вечерами кататься, по холодку.

Мне бы так пожить. Пальцы ее по-прежнему гладят косу.

— Повезете маму по самым красивым местам?

Я объяснила, что нам предстоит забрать из клиники взятую напрокат машину, только загвоздка в том, что у меня нет прав, а у Розы больные ноги.

— Как это нет прав?

— Четыре раза провалила вождение.

— Такого не бывает.

— И теорию не сдала.

Поджав губы, она устремила обрамленные длинными ресницами глаза на копну моих волос.

— Верхом ездите?

— Нет.

— А я с трех лет в седле.

Мне решительно нечем похвалиться.

— Прошу прощения за эту путаницу, — сказала я.

И унесла ноги из Senoras, стараясь не переходить на бег. Куда мне податься? Податься некуда. Нас с матерью объединял тот самый страх, который внушали нам плакаты в ипотечной компании. И были правы. Я двинулась в сторону главной площади — как будто для того, чтобы прицениться к арбузам.

Корки сохраняю для кур, которые поразительным образом несутся даже на такой жаре. Разводит их сеньора Беделью, потерявшая мужа в гражданскую войну: он сражался против фашиствующих франкистов.

Оказывается, арбузами торгует не мужчина, а женщина. Устроилась на водительском месте пикапа и сигналит напропалую маленькой коричневой пятерней. Я совсем запуталась. У меня в сознании сложился образ потного небритого шоферюги, а передо мной сидит немолодая женщина в соломенной шляпе. Синее платье запылилось, необъятные груди лежат на руле.

И тут я вспоминаю, что не допила кофе.

Возвращаюсь в кафе «Плайя» и залпом прогла-

тываю свой кортадо, как деревенский пьянчужка — утренний коньяк.

А она тут как тут.

Блондинка в мужских туфлях стоит возле моего столика. Рослая, по-солдатски осанистая. Изучает море. Яхты. Детишек, которые бултыхаются в гигантских надувных кругах. Отдыхающих, которые воткнули в песок тенты и нежатся в шезлонгах или на расстеленных полотенцах. В океан уходит принадлежащий школе дайвинга катер, нагруженный всевозможным инвентарем. Гремит цепью рыжеватая овчарка, которую я до сих пор не освободила.

— Меня зовут Ингрид Бауэр.

Принесла нелегкая.

— А меня — Софи, по-гречески София.

— Будем знакомы, Зоффи.

В ее устах мое имя звучит, будто из другой жизни. Мне стыдно за свои унылые белые шлепанцы. На летней жаре они стали серыми.

— У вас губы растрескались от солнца, — говорит она. — Как миндальные орехи, созревающие в Андалусии.

Собака Пабло начинает выть.

Ингрид смотрит вверх, на солярий школы дайвинга.

— Немецкая овчарка — это служебная собака, ее не полагается круглые сутки держать на цепи.

— Ее хозяин — Пабло. Его все терпеть не могут.

— Я знаю.

— Сегодня пойду освобождать этого пса.

— Правда? И как вы собираетесь это сделать?

— Еще не решила.

Она воздевает взор к небу.

— Будете смотреть ему в глаза и отмыкать цепи?

— Да.

— Это ошибка. Никогда так не делайте. Вы сможете на подходе замереть как дерево?

— Дерево никогда не замирает.

— Ну, тогда как бревно.

— Да, замру как бревно.

— Как лист.

— Лист никогда не замирает.

Она по-прежнему смотрела в небо.

— Есть одна сложность, Зоффи. Собака Пабло страдает от жестокого обращения. Как распорядиться свободой, она не знает. Начнет бегать по деревне и пожирать младенцев. Если вы спустите этого пса с цепи, придется отвести его в горы и там отпустить на волю. Вот тогда он станет по-настоящему свободным.

— Но в горах он умрет без воды.

Теперь она переводит взгляд на меня.

— Что хуже: сутками сидеть на цепи над плошкой воды или глотнуть свободы и умереть от жажды?

Одна ее бровь поползла вверх, точно вопрошая: Ты слегка истеришь? Заставила бармена распахнуть двое дверей, чтобы найти мужчину, которого нет; не смогла выключить воду; не умеешь водить машину — и собираешься вызволить одичавшего пса?

Она спросила, не хочу ли я прогуляться по пляжу.

Хочу.

Я сбросила шлепанцы, и мы спрыгнули с трех бетонных ступенек, отделяющих террасу кафе от пляжа. Что-то было в этом прыжке особенное: мы не сошли по ступенькам, а одновременно разбежались и прыгнули. А дальше помчались по песку, словно хотели поймать нечто такое, что — мы знали наверняка — там было, только до срока оставалось невидимым. Через некоторое время мы перешли на шаг и двинулись вдоль берега. Ингрид сбросила свои ботинки, а потом, взглянув на меня, зашвырнула их в море.

Я услышала свой крик «Нет-Нет-Нет». Подобра-

ла юбку и пошла отвоевывать их у волн. Наконец, прижав ботинки к груди, я вышла из моря и вернула их Ингрид.

Она повертела каждый в руке, вылила из них воду и рассмеялась.

— Господи, эти мужские туфли. Я не хотела тебя напугать, Зоффи.

— Ты не виновата. Я не из-за этого перетрусила.

Зачем я это сказала? Разве я не из-за этого перетрусила?

Мы шли дальше, огибая песчаные замки, построенные детьми и их родителями, — целые замысловатые королевства с башнями и рвами. Девочку лет семи закопали по пояс в песок, ноги ее оказались похоронены заживо, а вместо них три ее сестры принялись выкладывать русалочий хвост. Мы перепрыгнули через эту малышку, снова пустились бежать и остановились только в конце пляжа. Когда я рухнула на гряду прибившихся к скале черных водорослей, то же самое сделала Ингрид Бауэр. Мы бок о бок лежали на спине, глядя на плывущий в синем небе синий воздушный змей. Я слышала ее дыхание. Змей вдруг съежился и начал опускаться. Мне захотелось, чтобы вся моя прежняя жизнь уплыла

с набегающими волнами, а вместо нее чтобы началась совсем другая. Но что все это значит и как к этому подступиться, я не знала.

У Ингрид в заднем кармане шортов звонил телефон. Чтобы его достать, она перевернулась на живот, я тоже перевернулась, и мы подвинулись ближе друг к дружке. Мои растрескавшиеся губы соединились с ее полными мягкими губами, и мы стали целоваться. Начинался прилив. Я закрыла глаза и почувствовала, как море накрывает мои лодыжки; а в голову лезла экранная заставка моего ноута, созвездия цифрового неба, светящиеся розовые завитки из газа и пыли. Телефон не умолкал, но мы не переставали целоваться, и она держала меня за искусанное медузами плечо, сжимая лиловые рубцы. Было больно, но я даже не охнула, а потом она отстранилась, чтобы ответить на звонок.

— Я на пляже, Мэтти. Слышишь море? — Она протянула руку с телефоном к волнам, но ее чуть раскосые зеленые глаза не отрывались от меня.

Одними губами она говорила: «Я опаздываю, жутко опаздываю», как будто винила меня за свое опоздание.

Совершенно сбитая с толку, я встала и пошла прочь.

И даже не обернулась, услышав за спиной свое имя. Девочка-русалка, по пояс закопанная сестрами в песок, теперь обзавелась полноценным хвостом-веером, украшенным ракушками и мелкой галькой.

— Зоффи Зоффи Зоффи.

Я брела, как в тумане. По моей воле произошло нечто. Дрожа, я сознавала, что слишком долго держала себя в узде: свое тело, свою кожу; а между прочим, слово «антропология» восходит к греческому *anthropos,* что значит «человек», и *logia,* что значит «изучение». При том, что антропология — это наука, изучающая род человеческий с момента его зарождения миллионы лет назад и по настоящее время, сама я, антрополог, не очень-то преуспела в изучении собственной личности. Темами моих исследований в разное время становились культура австралийских аборигенов, иероглифы майя и корпоративная культура одной японской автомобилестроительной компании, а помимо этого я написала рефераты по внутренней логике других обществ, но нисколько не приблизилась к пониманию собственной логики. И вдруг это сделалось лучшим из всего, что со мной произошло. А самым сильным ощущением стало то, как она давила на

мое искусанное медузами плечо.

На площади она пьет персиковый чай и мучается от жары, потому что ее голубая с черным клетчатая рубашка предназначена для зимы, а не для андалусийского лета. Мне кажется, она представляет себя ковбоем-одиночкой в рабочей одежде; по ночам ей не с кем любоваться холмистым горизонтом, некому сказать: о боже, какие звезды.

Стук

Вечером я слышу стук в окна нашего пляжного домика. Дважды проверяю — никого. То ли это чайки, то ли ветер бросается пляжным песком. Смотрю в зеркало и себя не узнаю.

Загорелая, с отросшими непослушными волосами и сверкающими белизной зубами на фоне смуглой кожи; глаза будто увеличились, засияли — чтобы плакалось легче, когда мама на меня кричит, кричит что-то вроде «Ты даже обувь не способна туго зашнуровать». И каждый раз я бегу к ней, опускаюсь на колени, спешно наклоняюсь и опять затягиваю шнурки, а они тут же развязываются — и так до того момента, пока я, сев, наконец, на пол, не кладу ее ступни себе на колени, чтобы развязать все старые узлы и завязать новые.

Процесс долгий: ослабить, распутать, начать сначала.

Я спросила, зачем ей вообще надевать обувь. Тем более на шнуровке. Уже стемнело, да и вечерних развлечений она не планировала.

— В зашнурованной обуви лучше думается, —

заявила мама.

Не отрывая взгляда от побеленной стены, она полулежала, пока я возилась со шнурками. Разреши она повернуть кресло, могла бы сейчас любоваться звездным небом. Одно малейшее движение — и совсем другой вид, но это ее не интересует. Звезды будто причиняют ей обиду. Все до единой — ее оскорбляют. Мать говорит мне, что у нее перед мысленным взором и так есть вид. Это Йоркширское нагорье. Она идет по тропе, под ногами пружинят сочные травы, ей на голову мягко падает морось — легчайший дождик, а в рюкзаке лежит булочка с сыром. Вот бы мне тоже пройтись вместе с матерью по Йоркширскому нагорью; я бы с радостью намазывала маслом булочки и ориентировалась по карте. Когда я открываюсь маме, она отвечает полуулыбкой, как будто уже отреклась от своих ног в пользу кого-то другого. Я всю ночь нервничаю. Мне до сих пор чудится стук в окна. Вероятно, это мыши — возятся в стене.

— Вечно ты где-то далеко, София.

Не исключено, что это мой отец. Вернулся к нам, чтобы позаботиться о маме и дать мне отдохнуть. Не исключено, что это североафриканская беженка, вплавь добравшаяся до здешних бере-

гов. Дам ей приют на одну ночь. Надо бы. Думаю, я могла бы это организовать.

— София, в холодильнике есть вода?

Вспоминаю таблички на дверях общественных туалетов. Они сообщают нам, кто мы такие.

Gentlemen — Ladies

Homines — Femmes

Herren — Damen

Signori — Signore

Caballeros — Señoras

Неужели каждый из нас тайно присутствует в соседней табличке?

— Принеси мне воды, София.

Мне вспоминается, как Ингрид протягивала мобильный к волнам. *Я на пляже, Мэтти. Слышишь море?* Во время разговора со своим другом она положила ступню на внутреннюю поверхность моей правой ляжки, повыше колена.

Ее мужские туфли, брошенные на водоросли, покачивало приливом, как две маленькие плоскодонки. От темных, свободно плавающих водорослей исходил соленый минеральный запах, манящий, густой.

Я на пляже, Мэтти. Слышишь море?

Море, кишащее медузами.

Море, намочившее синие вельветовые шорты.

Я продолжаю развязывать старые узлы на маминых шнурках и завязывать новые. Нет, кто-то определенно стучится в оконное стекло. Причем теперь это не легкая дробь, а решительные удары. Сняв с колен мамины ступни, иду к дверям.

— Ты кого-то ждешь, София?

Нет. Да. Возможно. Не исключено, что я кого-то жду.

На ногах у Ингрид Бауэр серебристые римские сандалии с высокой шнуровкой; Ингрид раздражена.

— Зоффи, я стучу не знаю сколько!

— Я тебя не видела.

— Но я не отходила ни на шаг.

Она рассказывает, что обсудила мое положение с Мэтью.

— Какое положение?

— Отсутствие личного транспорта. Тут пустыня, Зоффи! Он вызвался завтра пригнать твою машину от клиники Гомеса.

— Машина была бы очень кстати.

— Покажи укусы.

Я закатала рукав и предъявила ей лиловые рубцы. Они начинали покрываться волдырями.

Ингрид обвела укусы пальцем.

— От тебя пахнет океаном, — шепнула она. —

Как от морской звезды. — Палец проник ко мне подмышку. — На тебя охотились эти мелкие чудовища. — Она попросила номер моего мобильного, и я записала его у нее на ладони.

— В другой раз открывай, Зоффи, когда я постучусь.

Я сказала, что вообще не запираю дверь.

Наш пляжный домик темноват. Даже в летний зной толстые стены хранят в нем прохладу. Мы зачастую включаем свет не только вечером, но и днем. Вскоре после ухода Ингрид у нас вдруг вырубилось электричество. Пришлось мне залезть на стул, чтобы открыть щиток на стене возле ванной комнаты и щелкнуть предохранителем. Вспыхнул свет, я слезла со стула и пошла заваривать чай для Розы. Перед отъездом в Испанию она положила в чемодан пять упаковок йоркширского чая в пакетиках. В конце нашей улицы в Хакни есть магазинчик, где всегда продается такой сорт; она дошла до него своими ногами ради этой мелкооптовой закупки. Потом сама пришла домой. Вот загадка маминой хромоты. Иногда ее ноги выходят в свет как фантомные действующие конечности.

— Принеси ложку, София.

Я принесла.

Так жить невозможно. Всю дорогу на побегушках.

Время разбито, оно трескается, как мои губы. Записывая идеи для полевых исследований, я уже перестала понимать, в каком времени излагаю: в настоящем, в прошедшем или в обоих разом.

И собаку Пабло я так и не освободила.

Когда девушка-гречанка по ночам жжет антимоскитные спирали цитронеллы, я вижу плавные очертания ее живота и груди. Соски у нее темней, чем губы. Надо ей завязывать с привычкой спать голышом, если не хочет, чтобы в ароматной домашней тьме комары съели ее заживо.

Море идет к Розе

Когда Гомес повел маму обедать, я пообещала, что за столом буду нема как рыба. Это он запретил мне открывать рот и попросил, чтобы я довери-лась его суждениям. И добавил, что медперсонал будет ежедневно забирать Розу из пляжного до-мика, а я смогу располагать своим временем. По вторникам он будет вызывать меня в клинику, поскольку я — мамина ближайшая родственни-ца. А в остальном — выбор за мной. Гомес хотел поближе познакомиться с Розой, так как его ре-ально озадачил ее случай. Его интересовала не причина ее инвалидности. Его интересовало, от-куда у нее время от времени берется способность ходить. На первый взгляд, этот недуг имеет сугубо физическую природу, но нельзя же быть рабом теоретической медицины. А каково мое мнение?

Гомесу я отвела роль своего ассистента: я наблюдаю этот случай всю жизнь, а Гомес только-только приступил. В том, что касается маминых симптомов, грань между победой и поражением расплывается. Как только он ставит диагноз, у мамы обнаруживается очередной симптом,

который опровергает предыдущие заключения. Похоже, для него это не секрет. Вчера он велел ей изложить свои последние жалобы какому-нибудь мертвому насекомому, хотя бы мухе: ту легко прихлопнуть. Он предложил, чтобы она отдалась этому странному действу и внимательно прислушалась к монотонному предсмертному жужжанию насекомого. Есть вероятность, сказал Гомес, что она обнаружит сходство жужжащего звука, который многим режет слух, с тембром и тоном русской народной музыки.

Впервые в жизни вижу, чтобы Роза оглушительно хохотала, раскрыв рот. Между тем Гомес направил ее на всевозможные сканограммы, а его персонал следил, чтобы на правой ноге у мамы всегда была повязка с сульфадиазином серебра.

Столик на троих был заказан в ресторане на главной деревенской площади: Гомес рассудил, что маме относительно легко будет туда добраться. Но путь был тернист. Роза поскользнулась на скорлупе от фисташек, не убранной со вчерашнего вечера. До этого я битый час провозилась с ее шнурками, а в итоге маму свалил с ног орех размером не крупнее горошины.

Гомес поджидал за столиком. Во время обеда он сидел напротив Розы, а я, по его указанию, рядом

с ним. Вместо официального костюма в карандашную полоску он надел элегантный кремовый льняной, не то чтобы совсем уж повседневный, но менее деловой, чем тот, в котором он впервые предстал перед нами в качестве знаменитого консультанта. Из нагрудного кармана пиджака торчал желтый носовой платок, сложенный на старинный манер: не под прямым углом, а наподобие круглой пуховки. Вид у Гомеса был щегольской, породистый и учтивый. Они с мамой уставились в меню, а я, как глухонемая, вывезенная на экскурсию, просто указала пальцем на первый попавшийся салат. После долгих раздумий Роза выбрала суп из белой фасоли, а Гомес с шиком заказал фирменное блюдо: осьминога на гриле.

Роза поспешила сообщить, что у нее аллергия на рыбу: сразу пухнут губы. Не дождавшись от Гомеса признаков понимания, она наклонилась вперед и ткнула меня в плечо.

— Расскажи ему о моих проблемах с рыбой.

Как наказывал мне Гомес, я промолчала.

Мама переключилась непосредственно на него.

— Я на дух не переношу рыбу. От вашего осьминога на меня повалит пар, и я вся покроюсь

сыпью.

Гомес рассеянно покивал и взял ее за руку. Она вздрогнула, но, сдается мне, он проверял ее пульс, потому что его палец лег ей на запястье.

— Миссис Папастергиадис, вы принимаете вспомогательные средства, содержащие рыбий жир, а кроме того, вы принимаете глюкозамин. Эти препараты я отправлял на проверку в нашу лабораторию. Ваша разновидность глюкозамина изготавливается из панцирей моллюсков. А первое средство содержит вытяжку из хряща акулы.

— Да, но на все другие породы рыб у меня аллергия.

— Акула — не моллюск.

Его золотые резцы сверкнули на солнце. Он мог бы заказать столик в тени, а так белая дорожка у него в волосах пропиталась потом, от которого пахло имбирем.

Когда Роза потянулась за картой вин, он ловким движением выхватил у нее папку и отодвинул на край стола.

— Нет, миссис Папастергиадис. Работать с подвыпившей пациенткой не в моих правилах. Я ведь не стал бы предлагать вам вино у себя в кабинете. Считайте, что я всего лишь изменил место. У нас сейчас очередная консультация; не

вижу препятствий для проведения ее под открытым небом.

Жестом подозвав официантку, Гомес заказал бутылку определенной минеральной воды, которую, как он объяснил Розе, разливают в Милане, затем экспортируют в Сингапур, а уже оттуда везут в Испанию.

— Ах, Сингапур! — Он хлопнул в ладоши, сигнализируя, очевидно, что требует безраздельного внимания. — В прошлом месяце я был на конференции в Сингапуре и сильно разволновался. Чтобы успокоиться, мне посоветовали утром кормить карпов в гостиничном фонтане, а днем созерцать Южно-Китайское море. Ну, не прекрасно ли это звучит… «Южно-Китайское море»?

Роза содрогнулась, точно сама мысль о чем-то прекрасном была для нее личным оскорблением.

Гомес откинулся на спинку кресла.

— На крыше моей гостиницы был устроен бассейн, куда туристы из Великобритании ходили пить пиво. Сидя по брюхо в воде, они накачивались пивом и ни разу даже не взглянули в сторону Южно-Китайского моря.

— Мне кажется, это чрезвычайно приятно: пить пиво в бассейне, — резко высказалась Роза,

напомнив ему заодно, что сама она — не любительница запивать обед водой.

Золотые резцы полыхали огнями.

— Вы сидите на солнце, миссис Папастергиадис. Витамин Д показан для ваших костей. Вам необходимо пить воду. А теперь у меня к вам серьезный вопрос. Ответьте: почему вы, англичане, говорите «вай-фай», а у нас в Испании говорится «вии-фии»?

Роза пригубила воду с таким видом, будто ей порекомендовали пить собственную мочу.

— Очевидно, из-за различия в произношении ударных гласных, мистер Гомес.

Посреди площади тощий мальчишка лет двенадцати надувал резиновую лодку. На голове у него был зеленый «ирокез»; нога давила на пластмассовую педаль насоса, а рука отправляла в рот мороженое. Время от времени к нему подбегала пятилетняя сестренка и проверяла, не превратился ли жеваный ком резины в нечто годное для мореплавания.

Официант подал салат и фасолевый суп, балансируя тарелками на согнутой руке. А потом склонился над плечом Гомеса, чтобы театральным жестом опустить на бумажную подложку огромное блюдо, на котором красовался *pulpo alla*

griglia с лиловыми щульцами.

— О, да, *gracias,* — сказал Гомес на своем испано-американском наречии. — Я мог бы питаться одними этими созданиями! — Перед ним на бумажной подложке стояло огромное блюдо с *pulpo*, раскинувшим лиловые щупальца. — Главное украшение — маринад… несколько видов красного перца, лимонный сок, паприка! Кланяюсь этому древнему обитателю морских глубин. Спасибо, пульпо, за твой ум, тайны и необыкновенные защитные механизмы.

У Розы на левой щеке выступили два красных прыща.

— Известно ли вам, миссис Папастергиадис, что в целях маскировки осьминог способен менять цвет кожи? Как американец, я до сих пор считаю, что пульпо — загадочное существо, маленький *monstruo,* но моя испанская кровь находит это чудовище вполне симпатичным.

Он занес нож и отсек пупырчатое синюшное щупальце. Правда, есть не стал, а бросил на пол, недвусмысленно приглашая деревенских кошек разделить с ним обед. Те набежали со всех сторон и стали кружить у его ботинок, готовясь вступить в драку за порцию морского чудовища. А Гомес изящным движением отпилил кусочек резино-

вой тушки и с вожделением положил в рот. Через некоторое время он надумал отдать в кошачьи лапы еще три щупальца.

Мама притихла и подозрительно застыла. Не как дерево, не как лист, не как бревно. Она застыла как труп.

— Мы обсуждали «вай-фай», — продолжил Гомес. — Скажу вам ответ на свою загадку. Я говорю «вии-фии» потому, что это рифмуется с «се ля ви».

У него на штиблетах сидела троица тощих кошек.

По всей видимости, Роза все же дышала, потому что она взъелась на Гомеса. Белки глаз порозовели и припухли.

— Где вы изучали медицину?

— В Университете Джонса Хопкинса[4], миссис Папастергиадис. В Балтиморе.

— Он шутит, — громко прошептала Роза.

Насадив на вилку помидор, я не отвечала. И все же меня тревожило, что у мамы то и дело закрывается левый глаз.

---

[4] Примечания: 4

Университет Джонса Хопкинса — частный исследовательский университет, основанный Джонсом Хопкинсом в городе Балтимор, штат Мэриленд, США. Филиалы университета расположены также в Нанкине (Китай) и в Болонье (Италия).

Гомес спросил, получила ли она наслаждение от фасолевого супа.

— «Наслаждение» — это сильно сказано. Безвкусная жижица.

— Разве «наслаждение» — это сильное словцо?

— Оно не отражает моего отношения к этому супу.

— Надеюсь, ваш аппетит к наслаждениям вернется, — сказал Гомес.

Своими розовыми глазами Роза уставилась мне в глаза. Я предательски отвела взгляд.

— Миссис Папастергиадис, — заговорил Гомес. — У вас есть враги, которых вам бы хотелось со мной обсудить?

Она тоже откинулась на спинку кресла и вздохнула.

Что есть вздох? Вот еще одна подходящая тема для полевого исследования. Что это: просто длительный, глубокий, шумный вдох и следующий за ним выдох? У Розы вздох получился прочувствованный, но не сдерживаемый. Отчаянный, но не грустный. Вздох перезапускает дыхательную систему; следовательно, мама, наверное, долго задерживала дыхание, а это заставляет предположить, что нервничала она сильнее, чем показывала. Вздох — это эмоциональная реакция

на трудную задачу.

Я знала, что мама уже обращалась мыслями к своим врагам: у нее был составлен список. Нет ли в нем меня?

К моему удивлению, отвечала она спокойно, почти дружеским тоном.

— Первыми моими неприятелями были, конечно, родители. Они терпеть не могли иностранцев, и я, естественно, связала свою судьбу с греком.

Гомес улыбнулся синюшными от чернил осьминога губами.

И сделал моей маме знак продолжать.

— Родители отошли в мир иной, держась за добрые темнокожие руки ухаживавших за ними сиделок. Наверное, нехорошо сейчас осуждать. Но тем не менее. В мир иной, мои родители. Напомните мне прислать вам имена больничных сиделок, не отходивших от их смертного одра.

Гомес положил нож и вилку на край блюда.

— Вы рассказываете о государственной системе здравоохранения. Но для себя, как я вижу, делаете выбор в пользу частной медицины?

— Так и есть; мне даже немного совестно. Однако София навела справки о вашей клинике и убедила меня попытать счастья. Мы были в тупике. Правда, Фия?

Я смотрела на лодку, вырастающую посреди площади. Синюю, с желтой полосой во весь борт.

— Итак, вы связали свою судьбу с греком?

— Да, и мы с ним одиннадцать лет ждали, чтобы у нас родился ребенок. В конце концов, нам удалось зачать, а когда нашей дочке исполнилось пять лет, глас Божий приказал Кристосу найти себе в Афинах женщину помоложе.

— Сам я исповедую католическую веру. — Гомес отправил в рот следующий кусочек внеземного осьминога. — К слову сказать, миссис Папастергиадис, «Гомес» произносится с межзубным «с».

— Я уважаю ваши религиозные чувства, мистер Гомес. НЕТ, ОСТАВИМ КАК ЕСТЬ. Когда вы отправитесь на небеса, пусть вас встретит там осьминог, распластанный для вашего желанного обеда на просушку поверх жемчужных врат.

Казалось, он подготовился ко всему, что Роза бросала ему в лицо, и отказался от укоризненного тона первой встречи. Мамины глаза уже не были розовыми, а прыщи на левой щеке уменьшились.

— В общем, я очень долго ждала свое единственное дитя.

Гомес достал из нагрудного кармана свернутый наподобие пуховки шелковый носовой платок и

протянул моей матери.

— Бог и выход на прогулку. Не это ли ваши враги?

Роза промокнула глаза.

— Выход на прогулку — нет. Выход из себя — да.

Я с тоской уставилась в пол, усеянный окурками. Хорошо еще, что можно было оставаться немой.

Гомес держался мягко, но настойчиво.

— По поводу личных имен. Тут есть разные тонкости — знаете ли о них вы и Фия? — В его устах «вы и Фия» рифмовалось с «вии-фии». — У меня, например, две фамилии. Первая по отцу — Гомес, вторая по матери — Лукас. Я выбрал для себя сокращенную форму, но официально моя фамилия — Гомес Лукас. Ваша дочь обращается к вам «Роза», хотя официально вы для нее «мама». Наверное, вы испытываете неудобство, да, оттого, что постоянно лавируете между «Роза», «миссис Папастергиадис» и «мама»?

— Вы перешли на какие-то сентиментальности, — сказала Роза, вцепившись в его носовой платок.

У меня пикнул телефон.

Машина тут

Забери ключи
Ждем у бачков
Инге

Я шепнула Гомесу, что нам пригнали арендованную машину и мне придется выйти из-за стола. Он даже не посмотрел в мою сторону, так как полностью сосредоточился на Розе. Во мне вдруг вспыхнула ревность, как будто меня лишили знаков внимания, которыми, вообще говоря, никогда и не награждали.

Парковка представляла собой покрытый засохшими кустиками квадратный участок, примыкавший к пляжу; со всей деревни туда сносили мусор. В зловонных бачках уже не умещались гнилые сардины, куриные кости и овощные очистки. Проходя сквозь черное облако мух, я остановилась послушать жужжание.

— Зоффи! Давай бегом. Мы тут изжарились.

Крылья маслянистые, с замысловатым рисунком.

— Зоффи!

Я побежала к Ингрид Бауэр.

А потом перешла на шаг.

Мне на руку села муха. Я ее прихлопнула, однако излагать ей свои жалобы не стала.

Но загадала желание.

К своему удивлению, прошептала я его по-гречески.

Ингрид опиралась на красный автомобиль с распахнутыми дверцами. На водительском месте сидел мужчина лет тридцати — предположительно, Мэтью. Вначале мне показалось, что парень пристально разглядывает себя в зеркале, но, подойдя ближе, я увидела, что он бреется электрической бритвой.

У Ингрид на ногах что-то сверкало. Она пришла в серебристых римских сандалиях с высокой шнуровкой крест-накрест. Ей, можно было подумать, досталось настоящее сокровище. В Древнем Риме считалось, что гладиатор тем выше рангом, чем выше у него шнуровка сандалий.

На парковке, среди этих пыльных кустиков, она виделась мне воительницей на арене Колизея, куда только что подсыпали песка, чтобы лучше впитывалась кровь ее противника.

— Это мой бойфренд Мэтью, — сказала она.

Стиснув мою потную руку своей прохладной ладонью, Ингрид практически втолкнула меня в салон, да так, что я упала на ее друга и выбила у него электробритву. На лобовом стекле виднелась наклейка: «European».

— Эй, Инге, полегче.

Золотистые, как у Ингрид, волосы Мэтью доходили ему почти до подбородка, все еще белого от пены для бритья. Свалилась я прямо ему на колени, и мы не сразу смогли выпутаться из нечаянных объятий, а бритва знай себе жужжала на полу «европкара». Когда меня вновь обволокла гнилостная помоечная вонь, рубец под плечом уже пульсировал болью, так как аккурат этим местом я ударилась о баранку.

— Господи. — Мэтью испепелил взглядом Ингрид. — Что с тобой сегодня?

Он вышел из машины, подняв с пола бритву, выключил ее и дал подержать Ингрид, а сам начал заправлять белую тенниску в кремовые слаксы-чинос. Затем он пожал мне руку.

— Привет, Софи.

Я поблагодарила его за доставку машины.

— Совершенно не за что. Меня подбросил туда коллега, мой партнер по гольфу, так что любимая смогла поваляться на пляже. — Он обнял Ингрид за плечи. Даже в этих сандалиях на плоской подошве она возвышалась над ним как минимум на две головы. Половина его щеки все еще была в пене. Это выглядело как племенная раскраска. — Пекло безумное, да, Софи?

Отпихнув его руку, Ингрид указала на «европкар».

— Нравится, Зоффи? Это «ситроен берлинго».

— Нравится, только насчет цвета не уверена.

Ингрид знала, что машину я не вожу, а потому мне оставалось только гадать, зачем она приложила столько усилий, чтобы от моего имени заполучить этот автомобиль.

— Зайдешь к нам попробовать мой лимонад?

— И рада бы, да не могу. У нас с мамой в самом разгаре обед с ее врачом в ресторане на площади.

— Ну, ладно. Тогда, наверное, до встречи на пляже?

Мэтью вдруг сделался энергичным и предупредительным.

— Я сейчас закончу это безумное электропенное бритье, запру «берлинго» и подойду к вам с ключами и документами. Кстати, почему ты не взяла для матери «автомат»? То есть она ведь не ходит, верно?

Ингрид начала раздражаться, но я так и не смогла дать ответ. Когда она игриво лягнула его в икру, он поймал ее ногу, а потом, упав на колени, стал покрывать поцелуями загорелые женские голени в промежутках между крести-

ками завязок.

К моему возвращению мама с Гомесом, вроде бы, вполне поладили. Увлеченные беседой, они даже не заметили, как я подсела к ним за стол. Я невольно отметила взволнованный вид Розы. Она разрумянилась и кокетничала. Более того, сбросив туфли, она подставила солнцу босые ноги. А шнурки, которые я распутывала битый час, оказались никому не нужны. Мне подумалось, что Роза не один десяток лет спит одна. В возрасте лет пяти-шести-семи, когда отец уже нас бросил, я иногда забиралась к ней под одеяло, но при этом всегда испытывала какую-то неловкость. Будто она убирала свое подрастающее дитя обратно в материнское чрево, как самолет после старта убирает шасси. Сейчас она твердила, что нуждается как раз в тех трех препаратах, которые были отменены, и что эта поездка в Испанию для лечения ее непослушных ног оказалась погоней за невозможным. По-моему, она имела в виду, что мы ищем панацею, которая не дается в руки.

Заставь я себя хоть раз посмотреть со значением на мать, она под моим взглядом обратилась бы в камень. Ну, не она сама, конечно, и не в буквальном смысле. В камень обратились бы разглагольствования об аллергии, головокружениях,

трепыхании сердца и ожидании побочных эффектов. Пускай бы все эти разговоры окаменели.

Тощий парнишка с «ирокезом» все еще надувал свою лодку. С ним жарко спорил брат, который совал ему под нос весла; пятилетняя сестра пинала босой ногой синюю резину. Все трое были возбуждены предстоящим выходом в море. От этого действительно впору разволноваться: вдруг придется отменить назначенное? Тогда жди абстинентного синдрома.

Губы у Гомеса сделались синюшными от чернил осьминога, съеденного с таким вожделением.

— Вот видите, Роза, с помощью моего пульпо я привел к вам море, и вы пришли в себя.

Когда Роза улыбалась, лицо ее расцветало и оживало.

— Это грабеж, мистер Гомес. Меньше чем за сотню фунтов я могла бы отправиться в Девон, сидеть на морском берегу с пачкой печенья и гладить какую-нибудь английскую собаку. Вы обходитесь мне дороже, чем Девон. Если честно, я разочарована.

— Разочарование всегда неприятно, — согласился он. — Примите уверения в моем сочувствии.

Помахав официанту, Роза потребовала себе

большой бокал «риохи».

Гомес стрельнул глазами в мою сторону, и я поняла, что этот заказ его раздосадовал. Столик оказался неустойчивым и в течение всего нашего обеда шатался. Гомес достал из кармана рецептурный блокнот, вырвал пять рецептов и сложил их квадратиком.

— Будьте добры, София, приподнимите стол, я подсуну это под ножку.

Я встала и ухватилась за ближайший ко мне край стола. Этот пластмассовый предмет обстановки оказался на удивление тяжелым. Мне стоило немалых усилий приподнять его на полдюйма и дождаться, чтобы Гомес нашел подходящее место для бумажки.

Внезапно Роза подскочила в кресле.

— Эта кошка царапается!

Я заглянула под укрепленный стол. На левой маминой ступне восседала кошка.

Гомес потянул животное за левое ухо. Я прямо чувствовала, как он делает мысленные заметки, — сама занималась этим всю свою жизнь. Если у матери в нижних конечностях нет чувствительности, значит, ее мозг изображает некие когти, впивающиеся ей в ступни.

Из Гомеса получился Шерлок, а из меня — Ват-

сон, ну, или наоборот, поскольку опыта у меня было побольше. Мне открылась целесообразность приглашения деревенских кошек к нашему обеденному столу: это был способ проверить предполагаемое онемение. Когда я повторно заглянула под стол, на щиколотке у мамы краснела капелька крови. Стало быть, она действительно почувствовала, как ей в кожу впивается коготь.

Теперь до меня дошло, почему он дал ей разрешение управлять арендованным автомобилем.

Кто-то замаячил возле нашего столика. У мамы за спиной, уже безупречно выбритый, стоял Мэтью.

— Прошу прощения, — обратился он к Розе, когда поверх ее головы передавал мне ключи от машины и лиловую пластиковую папку. — Здесь все документы.

— Кто вы такой? — Роза была заинтригована.

— Я партнер Ингрид, подруги вашей дочери. Она сказала, что вам позарез нужны колеса, вот я и сгонял за вашей машиной с утра пораньше. Ход у нее вполне нормальный. — Покосившись на кошку, жующую щупальце пульпо, он скривился. — Эти бродячие кошки — разносчицы заразы, имейте в виду.

Роза надула щеки и лукаво кивнула в знак

согласия.

— Как ты познакомилась с этим молодым человеком, София?

Поскольку разговаривать мне запретили, я промолчала.

Как я познакомилась с Мэтью?

Я на пляже, Мэтти. Слышишь море?

Я на пляже, Мэтти. Слышишь море?

Беспокойство мое оказалось напрасным: всю инициативу взял на себя Гомес.

Он чопорно поблагодарил Мэтью за доставку машины и выразил надежду, что сестра Солнце убедилась в правильности оформления страховки.

Мэтью подтвердил, что документы в порядке и что он с удовольствием прогулялся по «безумным» садам вместе со своим коллегой, который любезно его подбросил до клиники. Он собирался сказать что-то еще, но моя мать не дала ему продолжить, забарабанив пальцами по его предплечью.

— Мне требуется небольшая помощь, Мэтью. Будьте добры, проводите меня домой. Я должна прилечь.

— Действительно, — сказал Гомес. — Как славно отдыхать в постели! Только с чего бы это?

Незаметно, чтобы вы с утра до ночи разбивали киркой булыжники.

Роза вновь постучала пальцами по руке Мэтью.

— Видите ли, я передвигаюсь с большим трудом, да к тому же на меня только что напала кошка. Ваш локоть будет как нельзя кстати.

— Без проблем, — ухмыльнулся Мэтью. — Только сперва разгоню этих шелудивых тварей.

Он затопал по цементу двухцветными перфорированными туфлями. Со своей стрижкой под пажа он смахивал на разгневанного европейского принца невысокого росточка. Кошачья стая бросилась врассыпную, за исключением одного смельчака-кота — за ним Мэтью зигзагами гонялся по всей площади. Прогнав и это животное, он сделал знак моей матери, которая уже сунула ноги в туфли.

Мэтью стоял шагах в пяти от нашего столика, не понимая, сколько времени понадобится Розе, чтобы преодолеть это расстояние и опереться на его руку. Пока она ковыляла в его сторону, он дважды посмотрел на часы. Больно было видеть, с какими муками она продвигалась к мужчине, который вовсе не жаждал ее общества. В конце концов, она повисла на его локте.

— Удачного вам отдыха, миссис Папастергиадис. — Подняв руку, Гомес помахал ей двумя пальцами.

На прощание обернувшись, чтобы бросить последний взгляд на Гомеса, она с ужасом заметила, что он доедает ее суп.

Через некоторое время он похвалил меня за молчание.

— Вы не поднимали голос в защиту своей матери. Это достижение.

Я промолчала.

— Вот увидите, в гневе или, возможно, в горе она снова будет ходить.

— Да, временами она ходит.

— Мой персонал проведет различные обследования, чтобы определить состояние ее костной ткани, в первую очередь позвоночника, бедер и предплечий. Но я отметил, что сегодня она, упав на пути в ресторан, не получила ни повреждений, ни растяжений, ни переломов. Одного этого наблюдения достаточно, чтобы исключить остеопороз. Меня тревожит другое: на то, чтобы не ходить, она тратит очень много жизненных сил. Не знаю, смогу ли я ей помочь.

Я готова была умолять, чтобы он от нее не отказывался, но не могла вернуть себе голос.

— Позвольте спросить, София-Ирина: где ваш отец?

— В Афинах, — проскрипела я.

— Так-так. У вас с собой есть его фото?

— Нет.

— А почему?

Мой голос спугнули, как кота.

Гомес наполнил стакан водой, которая была разлита в Милане, но имела какое-то отношение к Сингапуру, и передал мне. Сделав маленький глоток, я прочистила горло.

— Мой отец женился на своей любовнице. У них родилась девочка.

— Значит, в Афинах у вас есть сестра, которую вы никогда не видели?

Я сказала, что собственного отца, и то не видела уже одиннадцать лет.

Похоже, Гомес вознамерился внушить мне желание съездить в гости к отцу: он пообещал, что привлечет дополнительную смену персонала для ежедневного ухода за Розой.

— Если не возражаете, София-Ирина, я скажу, что для здоровой молодой женщины вы несколько слабы. Иногда вы прихрамываете, словно переняв эмоциональный настрой матери. Вам бы окрепнуть физически. К примеру, этот

стол совсем не тяжелый, а вы приподнимали его с большим напряжением сил. Думаю, вам требуются физические нагрузки. Это вопрос целеустремленности и борьбы с апатией. Почему бы вам не набраться дерзости, чтобы украсть в рыбной лавке рыбину? Пусть не самую большую, но и не какого-нибудь малька.

— А зачем мне совершать такую дерзость?

— На этот вопрос должны ответить вы сами. — Голос его звучал успокоительно, ровно и серьезно, хотя сам он, судя по всему, был безумен. — Теперь я должен поговорить с вами о другом. — Казалось, он не на шутку расстроен.

По его словам, на стене клиники появилась надпись, сделанная из баллончика с синей краской. Не далее как сегодня утром. Она состояла из одного слова: ШАМАН. То есть его объявили шарлатаном, мошенником, позорящим профессию врача. Он считал, что это происшествие как-то связано с моим знакомым, который приезжал забрать машину. Как его… Мэтью. Сестра Солнце отдала ему документы и ключи, а вскоре после его отъезда оказалось, что правая сторона мраморного купола осквернена этим словом.

— С чего бы он стал этим заниматься?

Гомес полез в карман, но не обнаружил там

носового платка. Тогда он вытер губы тыльной стороной ладони, а руку вытер салфеткой.

— Я понимаю, он играет в гольф с топ-менеджером фармацевтической компании, которая донимает меня уже не первый год. Мне было предложено финансирование научных исследований в моей клинике. А от меня, в свою очередь, требовали, чтобы я приобретал лекарства этой фирмы и пичкал ими своих пациентов.

Он явно был расстроен. Закрыв свои взволнованные яркие глаза, Гомес опустил руки на колени.

— Краску можно отчистить, но меня не покидает мысль, что кто-то хочет дискредитировать мою практику.

Мальчишка с «ирокезом» и его маленькая сестренка теперь волокли надутую лодку через площадь в сторону пляжа. Их брат поспевал сзади с веслами.

Гомес — шаман? Роза озвучивала эту идею.

Мне уже было наплевать на двадцать пять тысяч евро, которые мы с таким трудом наскребли, чтобы ему заплатить. Пусть забирает мой дом. Если он убьет оленя и приготовит из его внутренностей чудодейственное снадобье для неходячих, я буду только благодарна. Мама внушила себе,

что стала жертвой злых сил, а я плачу ему не за то, чтобы он потакал ее фантазиям насчет контроля над реальностью.

Вечером, бродя по деревне, я сорвала две веточки с куста жасмина, растущего у дома на середине склона. Во дворе на приколе стояла синяя резиновая лодка с именем «Анжелита» на борту. Я растерла в пальцах пару нежных белых лепестков. Запах был сродни забвению, какому-то трансу. Арка пустынного жасмина стала зоной коматоза. Я смежила веки, а когда вновь открыла глаза, увидела внизу Ингрид и Мэтью, которые поднимались по склону в винтажный магазин. Ингрид подбежала и чмокнула меня в щеку.

— Мы идем забирать оставленные для меня заказы, — сообщила она.

На ней было оранжевое платье с перьями вокруг выреза, а на ногах туфли в цвет, с открытым мыском.

Ее догнал Мэтью.

— Инге сшила это платье своими руками. Ей явно недоплачивают. Я собираюсь выбить для нее прибавку. — Он заправил волосы за уши и рассмеялся, когда она ущипнула его за руку. — С Инге лучше не связываться. Она просто безумная, когда злится. В Берлине три раза в неделю ходит

на тренировки по кикбоксингу — с ней не шути.

Мэтью направился к хозяйке винтажного магазина, дал ей прикурить и повернулся к нам спиной.

Протянув руку, Ингрид погладила мои волосы.

— У тебя тут узелок. Я сейчас вышиваю два платья таким швом, который называется французский узелок. Приходится дважды оборачивать нитку вокруг иголки. Закончу — сошью что-нибудь для тебя.

Перья у ее шеи трепетали; я поднесла к ее носу жасмин.

Мимо нас с ревом промчался вверх мопед, на котором примостились двое подростков.

— Думаю, ты сорвала эти цветы для меня, Зоффи.

От запаха бензина и жасмина я едва не лишилась чувств.

— Да, я сорвала эти цветы для тебя.

Стоя у нее за спиной, я заправила лепестки под ленту ее косы. Шея у нее была мягкой и теплой.

Когда она повернулась ко мне лицом, ее зрачки стали большими и черными, как море, что поблескивало вдали.

История болезни

Обнаженная, Роза стоит под душем. Груди свисают, живот то и дело втягивается и выпячивается; кожа гладкая и бледная, серебристо-светлые волосы мокрые, глаза яркие; ей нравится, как теплая вода струится по телу. По ее телу. Чего ее тело должно желать и кому должно нравиться, некрасиво ли оно и что вообще из себя представляет? Из-за отсутствия трех препаратов, исключенных из ее списка лекарств, она ожидает признаков абстинентного синдрома. Пока еще их нет. Но она все равно их ждет, как любовника, волнуется, не находит себе места. Расстроится ли она, если не дождется?

Историей болезни ее тела сегодня займется Джульетта Гомес, и меня попросили присутствовать. С чего начинается история болезни?

— С семьи, — говорит Джульетта Гомес. — Это же история.

Голубино-сизые лодочки уступили место кроссовкам. Тонкая шифоновая блузка заправлена в форменные брюки, плотно облегающие бедра. Джульетта ведет Розу в кабинет физиотерапии,

помогает устроиться в кресле и садится напротив.

— Вы готовы начать?

Роза кивает, а Джульетта возится с маленькой черной коробочкой, которая поблескивает на столе между ними. Она заверила мою мать, что это устройство используют для аудиоархива клиники и что все записи конфиденциальны. Теперь настраиваются уровни громкости. Предположительно, обе вскоре забудут, что разговор записывается.

Джульетта заговорила первой, начав с фактических данных. Она ввела дату и время собеседования, имя моей матери, ее возраст, вес и рост.

С ноутбуком на коленях я беспокойно ерзаю в углу кабинета, странным образом уплывая из времени. Мое присутствие на этом собеседовании кажется мне неправильным, даже неэтичным, но я согласилась на предложение Гомеса, поскольку до конца курса лечения ничем не занята, разве что по вторникам. Буду расплачиваться за эту свободу, внимая материнским словам.

Она говорит.

У ее отца были проблемы с самообладанием. Которые легко спутать с переизбытком энергии. Который легко спутать с маниакальностью. Спал

он два часа в сутки — ему хватало. Ее матери с ним было одно мучение. Которое легко спутать с депрессией. Ей требовалось не менее двадцати трех часов сна в сутки. Я знаю эту историю, но не хочу с ней соприкасаться. Надев наушники, вперилась в Ютьюб на треснутом экране, за которым таится вся моя жизнь. Некоторую часть этой жизни составляет моя заброшенная диссертация, что прячется под цифровыми созвездиями, рожденными на заводе близ Шанхая.

Я то и дело приподнимаю наушники.

Мать рассказывает о своем нынешнем недуге. Где начало этой истории? Оно мечется во времени, срастается с предшествующей историей, с детскими болезнями и всем прочим. В этом рассказе время не выстраивается в хронологической последовательности. Позже Джульетте придется расшифровывать слова Розы и самой вычленить из них анамнез болезни. Меня учили делать нечто подобное, хотя я, конечно, не физиотерапевт, а всего лишь этнограф. На каком-то этапе Джульетта будет обязана изложить жалобы, приведшие пациентку к ней в клинику. Симптомы и их описания. Жалоб тут не одна и не две. Даже не полдюжины. Я подслушала штук двадцать, но их было больше. На прошлое-настоящее-будущее

одновременно.

Роза шевелит губами; Джульетта слушает, я — нет. Мне сказали присутствовать, но я как бы не здесь. Смотрю на Ютьюбе концерт Дэвида Боуи, запись тысяча девятьсот семьдесят второго года, и пока он поет, видео подгружается в буфер. Волосы рыжие, как апельсин-королек; сверкающая рубашка загадочно поблескивает, вызывая ассоциации с космическими полетами, да и ботинки на высоченной платформе вот-вот оторвут его от земли. Крашеные веки Боуи — точь-в-точь серебристые космические ракеты. Девушки кричат, плачут и тянут руки, чтобы прикоснуться к Космическому Чудаку, расхаживающему по сцене. Он фрик, наподобие медузы. Девушки давно созрели, одичали, обалдели.

Мы так привязаны к Земле.

Будь я там, кричала бы громче всех.

Я и так кричу громче всех.

Хочу освободиться от структур родственных связей, которые должны меня сдерживать. Хочу внести хаос в рассказ о себе, услышанный от других. Схватить его за хвост и вздернуть вверх тормашками.

Роза кашляет. Вырисовывается схема, согласно которой она всегда кашляет, прежде чем расска-

зать нечто деликатно-интимное. Кашель вылетает, как затычка, и откупоривает воспоминания. Мама излагает некую историю болезни. Время от времени я слышу обрывочные предложения. Меня привлекает стиль опроса, свойственный Джульетте Гомес. Антропологи, наверное, сказали бы «углубленный опрос». Тогда маму следует назвать «информантом». Вопросы, как я замечаю, скупы, а мамины эмоции бьют через край. Мне бы убраться отсюда куда подальше. Джульетта держится непринужденно, но сосредоточенно, вроде бы даже не выпытывает и не давит; подсказок не дает. Я слышала записи, на которых этнографы копают слишком глубоко, из-за чего информанты вдруг замыкаются в себе, но у моей матери рот практически не закрывается.

Этот разговор едва ли можно определить термином «физиотерапия». Разве что мамины воспоминания засели в костях. Не потому ли с самой ранней истории человечества кости используются для гаданий и прорицаний?

Моя мать исполнена презрения к своему телу.

— Отрезали бы мне пальцы ног — и дело с концом, — говорит она.

Собрав первый анамнез, Джульетта помогает ей встать.

— Пошевелите левой ступней.

— Не могу. Левая ступня не шевелится.

— Вам нужно делать какие-нибудь упражнения с гантелями на укрепление мышц, на выносливость.

— Вся моя жизнь — сплошное испытание на выносливость, сестра Солнце. Запомните: мой первый враг и противник — выносливость.

— Как это правильно пишется по-английски?

Роза произносит по слогам.

Теперь Джульетта, заведя руки под мамин подбородок, помогает ей выправить посадку головы.

Роза оглядывается в поисках инвалидного кресла, но оно, похоже, исчезло из кабинета.

— Все болит. Избавиться бы от этих бесполезных ног. Вот тогда можно будет вздохнуть с облегчением.

Джульетта перевела взгляд на меня. Ее густо накрашенные ресницы превратились в пики.

— По-моему, Роза не может стоять прямо из-за своего высокого роста.

— Нет, это все мои ненавистные ноги! — прикрикнула на нее моя мать.

Джульетта повела ее к инвалидному креслу, которое внезапно материализовалось: его прикатил швейцар, пытавшийся на ходу читать

положенную на подлокотник газету. С первой полосы на нас смотрела большая фотография Алексиса Ципраса, премьер-министра Греции. Я заметила, что на нижней губе у него герпес.

— Отрежьте мне ноги, больше я ничего не прошу, — сказала моя мать Джульетте.

В ответ Джульетта ловко лягнула каталку левой кроссовкой.

— А какой в этом толк. Роза?

— Толку никакого.

У Джульетты был бледный измочаленный вид. Она подошла ко мне и протянула какую-то карточку типа визитки.

— Если будет желание, приезжай в гости. Посмотришь мою мастерскую. Я живу в Карбонерасе.

Я прикидывала так и этак, что бы это значило, но вскоре в кабинет вошел Гомес в сопровождении кошки Джодо. Дорожка у него в волосах перекликалась с белой кошачьей шерсткой. Толстая и безмятежная, Джодо громко мурлыкала у хозяйских ног.

— Как продвигается физиотерапия, миссис Папастергиадис?

— Зовите меня Розой.

— О, конечно, оставим формальности.

— Если вы так забывчивы, мистер Гомес, делайте заметки на тыльной стороне ладони.

— Непременно, — пообещал он.

Джульетта сообщила отцу, что составила первичный анамнез, устала и теперь просит дать ей двадцатиминутный перерыв на кофе с пирожными. Подняв руку, Гомес пригладил свою ослепительно-белую дорожку.

— В столь ранее время дня не бывает такой вещи, как усталость, сестра Солнце. Молодые не отдыхают. Молодые должны кутить всю ночь напролет со смотрителями маяков. Молодые должны спорить до рассвета.

Он попросил дочь напомнить ему соответствующую выдержку из клятвы Гиппократа. Джульетта отошла к столу и выключила записывающее устройство.

— «Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости», — мрачно отбарабанила она.

— Очень хорошо. Если молодые устают, им надо менять свой образ жизни.

Казалось, он ей за что-то выговаривает. Неужели заметил, как его дочь пнула кресло-каталку?

Внимание Гомеса целиком переключилось на мою мать. Он измерил ей пульс, но со стороны это выглядело очень интимно, как будто они держались за руки. Голос его звучал мягко, даже игриво.

— Как я заметил, вы еще не обкатали машину, Роза.

— Нет. Мне нужно будет попрактиковаться, прежде чем возить Софию по горным дорогам.

Ее запястье слегка сжали его пальцы. Застывшие, но без неподвижности. Словно лист. Словно камешек в ручье.

— Видите, София-Ирина, как миссис Папастергиадис печется о вашей безопасности.

— Моя дочь тратит жизнь попусту, — ответила ему Роза. — София толстая и ленивая; в своем далеко не юном возрасте живет за материнский счет.

Так и есть; на протяжении жизни мои формы меняются от худобы до разных других размеров. Мамины слова — мое зеркало. Мой ноут — покров позора. Я все время в нем прячусь.

Сунув его под мышку, я вышла из кабинета физиотерапии. Джодо немного меня проводила. Она бесшумно ступала мягкими лапами, а потом исчезла. Должно быть, я куда-то не туда

свернула, потому что заплутала в лабиринте млечно-мраморных коридоров. Стены с прожилками наваливались на меня и душили. Стук моих каблуков по мраморному полу напомнил мне о нашем первом посещении этой клиники, когда до меня донеслось гулкое эхо каблучков Джульетты, убегавшей от отца. А теперь я убегала от матери. К своему облегчению, я заметила стеклянную дверь, вдохнула наконец-то горный воздух и остановилась среди суккулентов и зарослей мимозы.

Вдали, под горой, я увидела океан и желтый флаг, воткнутый в грубый песок пляжа. Он меня буквально преследовал, этот флаг. С чего начинался и чем заканчивался анамнез Медузы? Испытала ли она потрясение, опустошенность, ужас, когда поняла, что никто более не восхищается ее красотой? Столкнулась ли с дефеминизацией? В какую дверь заходила: с надписью Ladies или с надписью Gentlemen? Hommes или Femmes, Caballeros или Senoras? Я уже стала думать, не получила ли она при жизни больше власти, став чудовищем? А куда меня саму привело старание вечно всем угождать? Да вот сюда. Теперь ломаю руки.

Мне в щеки ударил мелкий песок. Как будто разверзлись хляби небесные и хлынул песча-

ный дождь. Белой вспышкой мелькнула Джодо, которая шмыгнула в укрытие из серебристых листьев суккулента, разросшегося в форме зонта. Чистильщик в комбинезоне и защитных очках драил из шланга стену возле входа в клинику. До меня не сразу дошло, что из шланга бьет не вода. Рабочий отчищал стену при помощи пескоструйного аппарата. Подойдя ближе, я разглядела строчку, нанесенную на мрамор из баллончика с синей краской. Она изрядно поблекла, из чего я заключила, что пескоструйку направляют на нее далеко не впервые. Не эти ли граффити пару дней назад упоминал Гомес? Но слова «шаман» тут не было. Невзирая на все усилия, приложенные к стиранию краски, буквы различались отчетливо. Очевидно, Гомес просто решил продемонстрировать, что знает, какое мнение сложилось о нем у моей мамы: шаман. Как будто одна эта мысль уже совершила преступление и опозорила стены его клиники. Синие граффити составляли не одно слово.

А целое выражение.

СОЛНЦЕ = СЕКС

Иногда она расхаживает в сомбреро. Никто не вывозит ее на морскую прогулку по маленьким бухточкам, никто не слышит, как она говорит: до чего же здесь прозрачная вода, ой, с ума сойти, хочу нырнуть за этой морской звездой. Мною замечено, что на этот месяц у нее с собой взяты две кредитки. Предложить ей, что ли, денег в долг?

Охота и собирательство

— Зачем тебе убивать ящерицу?

Ингрид сидела на корточках в тупике возле пиццерии, принадлежащей таксисту-румыну. С первого взгляда я не могла понять, чем она там занимается, а потом заметила у нее в руках миниатюрный лук со стрелой. Такой крошечный, размером с ладонь. Стрела была нацелена в ящерицу, которая только что высунулась из трещины в стене. Ударившись в стену, стрела упала на землю.

— Зоффи! Меня отвлекла твоя тень. Обычно я не промахиваюсь.

Она подняла стрелу, заостренную, как карандаш, и показала мне маленький изогнутый лук с туго натянутой нейлоновой тетивой.

— Сама сделала, из бамбука.

— Но ящерку-то зачем убивать?

Она ткнула пальцем в белую картонную коробку, которую я прислонила к стене.

— Можно подумать, я только и делаю, что тебе кровь порчу, Зоффи. Что у тебя в коробке?

— Пицца.

— Какая?

— «Маргарита», с двойным сыром.

— Тебе лучше на овощной салат налегать.

Длинные волосы Ингрид скреплены на макушке. В своем белом сарафане с бретельками крест-накрест она похожа на прочную тонированную статую. Парусиновые туфли тоже белые. Когда ящерица снова выскочила из трещины, Ингрид жестом приказала мне не отсвечивать. У рептилии был зеленый хвост, а на спине голубые кружки.

— Сдвинься! Иди отсюда, Зоффи, не мешай. Ты освободила собаку Пабло?

— Нет еще. Сегодня утром Пабло уволил одного маляра-мексиканца. Которому не заплатил.

— Значит, не видать мексиканцу своих денег, Зоффи. А тебе надо стать более толстокожей, как наша подружка-ящерица.

Я попросила разрешения сфотографировать Ингрид с луком и стрелой.

— Валяй.

Достав айфон, я нацелила его ей в голову.

Кто такая Ингрид Бауэр?

Каковы ее верования и священные обряды? Пользуется ли она хозяйственной автономией? Для каких ритуалов применяет менструальную

кровь? Как реагирует на зимнее время года? Как относится к нищим? Верит ли, что у нее есть душа? Если да, то каково олицетворение души? Птица, тигр? Установлено ли в ее смартфоне приложение Uber? До чего же у нее мягкие губы.

Сначала я выбрала режим покадровой съемки, потом — замедленного видео, а под конец просто «фото». Через видоискатель я наблюдала, как Ингрид открывает коробку и вытаскивает пиццу. Презрительно посмотрев на засохший оранжевый сыр, пиццу она тут же выбросила.

— Да я лучше ящерицу съем. Ты все отсняла?

— Все.

— Для чего это тебе?

— Буду вспоминать, как в августе мы с тобой были в Альмерии.

— Воспоминания — это бомба.

— Да ну?

— Ага.

— Что ты собираешься делать с ящерицей, когда застукаешь? Поймать?

— Рассмотрю рисунок ее кожи — он подскажет мне новые узоры для вышивки. Она сейчас выскользнет из стены. Да шевелись же ты! Шевелись!

Я не шевелилась; тогда Ингрид, сверкая белы-

ми парусиновыми туфлями, ринулась ко мне, будто перешла в наступление. Обхватила меня за талию, подняла выше головы и отпустила; под ее рукой у меня задрался подол платья. Я почувствовала, как она трепещет, словно опадающий цветок растущей за стеной джакаранды.

— Зоффи, ты чудовище! — Отстранившись, она пнула ногой коробку из-под пиццы. — Иди хотя бы почитай про поселения каменного века. Что у тебя, дел никаких нет?

Дела у меня есть. Я разглядываю лук и стрелу Ингрид Бауэр. В моем воображении стрела вырастает до размеров оружия, способного поразить жертву. Изгиб лука напоминает губу. Наконечник стрелы заострен. Разве для Ингрид я чудовище? Она воспринимает меня как диковинную зверушку. Я и есть ее зверушка. Наконечник стрелы направлен прямо мне в сердце.

Я ничуть не тяжела. Как летящая стрела.

День клонился к вечеру; на пляже было безлюдно. Я вошла в теплое маслянистое море, где впервые не увидела ни единого надувного матраса, ни одной пластмассовой лодчонки. Для себя решила, что доплыву до Северной Африки, смутно видневшейся у горизонта. Направиться в другую страну — для меня это был повод совер-

шить заплыв кролем на длинную дистанцию с недосягаемым финишем. Чем дальше я уплывала, тем чище и прозрачнее становилась вода. Через полчаса я перевернулась на спину и стала дрейфовать под солнцем; губы снова растрескались от жары и соли.

От берега я уже далеко, но еще не затерялась. Нужно вернуться домой, но возвращаться некуда — своего места у меня нет, как нет ни работы, ни денег, ни любимого, который бы меня встретил. Перевернувшись на живот, я заметила медуз, медленно и спокойно плывущих этакими космическими кораблями, изящными и опасными. Когда чуть ниже левого плеча меня обожгла резкая боль, я стала загребать к берегу. Эта боль впивалась в тело раз за разом — ощущение было такое, будто с меня заживо сдирают кожу. Когда я доковыляла по песку до сараюшки пляжного медпункта, бородатый студент, очевидно, меня уже поджидал: он стоял у входа с тюбиком особой мази в руке.

Я повернулась, показала плечо и услышала:

— Плохо, о-очень плохо.

Стоя у меня за спиной, он принялся смазывать ожоги. Боль была адской, но он прикасался ко мне очень нежно, кругами втирая мазь, и приго-

варивал — вначале ласково, по-матерински, что ли, даже не знаю.

— Я видел, как далеко ты заплыла. Ты что, флаг не заметила? — Он повысил голос. — А ведь я тебя звал, София.

Запомнил, как меня зовут.

— София Папастергиадис. Дышать можешь?

— Нет.

— Ты спятила — заплывать в такую даль, когда флаг поднят?

Он кричал на меня, как брат или как любовник, не знаю даже. Со мной случилось что-то странное: мне вдруг захотелось повалить его наземь и заняться с ним любовью. Это укусы разожгли во мне желание. Огромное желание. Я превращалась в незнакомую мне личность. И сама себя пугала. Он взял меня за руку и помог лечь на низкий перевязочный столик. Я примостилась на правом бедре — лечь на спину нечего было и думать — и взяла из рук студента тонкую подушку под голову. Студент пододвинул стул, сел и начал поглаживать бороду, отчего я возбудилась еще сильнее. Да еще и ожог меня заряжал. Потом я услышала какой-то плеск. Это студент, поднявшись со стула, поливал из ведра мои облепленные песком ноги. А мне так хотелось, чтобы он тоже опустился на этот стол и

накрыл меня своим телом, а я бы, как любовница, обвила его ногами за пояс и доставила ему столько удовольствия, что от его блаженного крика эта сараюшка развалилась бы на части. Но вместо этого мне было предложено заполнить бланк.

Имя:

Возраст:

Страна происхождения:

Род занятий:

На сей раз я ничего заполнять не стала, только в графе «Род занятий» написала «Чудовище». Студент взглянул сначала на бланк, потом на меня.

— Но ты же красавица, — сказал он.

Ночь выдалась влажной и безветренной. Мне не спалось. Как ни повернись — чувствительные следы укусов на плечах, спине и бедрах садняло. Простыню я сбросила на пол. От слабости и жажды у меня, по всей видимости, начались галлюцинации, потому что в какой-то момент я увидела стоящую у моей кровати маму. Она казалась очень высокой. Мое тело было заботливо укрыто поднятой с пола простыней. Мужской голос стал по-испански нашептывать мне на ухо советы посмотреть соляные копи в городке Альмадраба де Молтельва, пальмы в Лас Пресильяс Бахас и черные горы в Эль Черро Негро. Вероятно,

это был студент из медпункта. Через два часа я сквозь горячку еще чувствовала запах одеколона Мэтью. С того момента, когда я увидела граффити на стене клиники, Мэтью не шел у меня из головы. Но у меня в комнате находился кто-то другой: дышал, таился. Я провалилась в сон, а проснувшись, увидела блондинку с завитыми кончиками волос, как у старомодной кинозвезды. Одетая в красное вечернее платье с открытой спиной, она держала в руках, затянутых в перчатки, какую-то склянку.

— Зоффи, дай я посмотрю свежие укусы.

Я подняла ночную рубашку.

— Ой, бедненькая, эти морские чудовища просто злодеи. Ты как с войны, правда.

Из-за стенки подала голос Роза:

— София, в доме кто-то есть.

Я с головой спряталась под простыню.

Ингрид сдернула простыню у меня с головы.

— Ты сказала матери, что не запираешь на ночь дверь?

— Нет.

Ингрид стянула с правой руки белую перчатку.

— Я принесла тебе лесной мед манука, от трещин на губах. — Макнув мизинец в склянку, она смазала мне губы. — Ты перестаралась с загаром,

Зоффи.

— Мне нравится загар.

— Где твой отец?

— В Афинах. У меня появилась сестренка. Ей сейчас три месяца.

— У тебя есть сестра? Как ее зовут?

— Понятия не имею.

— У меня тоже есть сестра. Живет в Дюссельдорфе. — Набрав полную грудь воздуха, она подула на мои ожоги. — Так приятно?

— Да.

Ингрид объяснила, что направляется в винтажный магазин на ретро-вечеринку в стиле тридцатых годов прошлого века. Там будет выступать какой-то местный оркестр с репертуаром из старых мелодий. Можно надеяться, сказала она, что я стану о ней думать, слыша эту музыку со своего одра болезни, а она сорвет веточку пустынного жасмина и подумает обо мне. Белой перчаткой она погладила меня по плечу.

— Тебе нравится вкус этого меда?

— Нравится.

Она сказала, что знает все танцы тридцатых годов, но охотнее покаталась бы верхом в горах, потому что для медленных танцев у нее слишком много энергии.

— Хочешь, я ненадолго к тебе прилягу, Зоффи? — Да.

— Ты чудовище, — прошептала она.

Склонившись надо мной, она слизнула мед с моих губ. Потом распрямилась, и складки красного платья коснулись кафельного пола. Она долго стояла без движения.

Через некоторое время на меня напал такой же мандраж, как в женском туалете в день нашего знакомства. Мне захотелось от нее избавиться, но я не знала, как попросить ее уйти. Когда я сказала, что мне придется встать, чтобы дать маме попить, Ингрид рассмеялась из темноты.

— Если хочешь, чтобы я ушла, почему не сказать попросту?

У моих губ вились две мухи. Я собралась с силами. Мне не хочется, чтобы она таилась в темноте. До чего же трудно сказать вслух то, что вертится на языке.

— Приедешь ко мне в Берлин?

— Приеду.

Стоя надо мной, как элегантная плакальщица на бдении у гроба, она вновь перешла на шепот. Ей хотелось, чтобы мы вместе провели Рождество; перелет она оплатит. В Берлине зимой холодно. Нужно взять с собой теплое пальто, и мы поедем

кататься в карете. Это развлечение для туристов, но ей тоже нравится, особенно в снегопад. Поездка начинается от Бранденбургских ворот и заканчивается у контрольно-пропускного пункта «Чарли». Она будет держать у меня над головой ветку омелы, чтобы я могла соблюсти традицию. Вроде как она подразумевала, что я прильну к ее губам не по своему желанию, а по воле омелы.

— Прокатишься со мной в этой дурацкой карете?

— Да.

— Нормально, что я зашла так поздно?

— Да.

— Ты счастлива, что мы с тобой встретились, Зоффи?

— Да.

Она выплыла из моей комнаты и удалилась через незапертую дверь.

Дерзость

Рыбная лавка была устроена неподалеку от румынской пиццерии, в подвале многоквартирного дома. Туристам это место было практически незнакомо, но к моему приходу там уже толпились деревенские хозяйки, покупавшие утренний улов.

Гомес порекомендовал мне украсть рыбу, чтобы набраться дерзости и целеустремленности. Я восприняла это задание как антропологический эксперимент, хотя он уже граничил с шаманством или, возможно, с шаманским мышлением. Когда я прогуглила, как выпотрошить рыбу, запросов нашлось более девяти миллионов.

Первая рыба, привлекшая мое блатарское внимание, оказалась морским ангелом с головой монстра и разинутым ртом, обнажившим два ряда мелких острых зубов. Я засунула кончик пальца ей в пасть и, как Колумб, открывающий Багамы, открыла для себя совершенно неизведанный мир. Свирепая торговка в желтом резиновом фартуке прикрикнула по-испански, чтобы я не лапала рыбу. Получилось, что я уже

себя обнаружила, хотя задача вора — незаметно проникнуть в ночную тьму, а вовсе не в рыбью пасть. У меня через плечо висела сумка-корзина с кожаными ремешками, натиравшими ожоги, которые вспухли и расползлись во все стороны немыслимой паутиной сочащихся ядом узоров. Взвешивая на допотопных медных весах три макрели, торговка держала в поле зрения всех, в том числе и лавочную злоумышленницу. Для лавочницы этот улов был хлебом насущным: она закупала свой товар у морских охотников с продажи их же улова, добытого ценою немалых усилий, но не о том сейчас следовало думать.

Я перешла к серебристым сардинам. Такую рыбешку стянуть легко, но это был бы сувенир, не стоящий риска. Покупательницы хмурились и качали головами, глядя на весы, словно не верили своим глазам. Некоторые и меня втягивали в разговор, вскидывая руки в притворном отчаянии от увесистости рыбы, на вид обманчиво мелкой.

Мое внимание привлекли усатые лангустины, бледно-серые, с выпученными глазами-бусинами. Океанские профессора, они не прибавили мне дерзости. На слое ледяной крошки покоился огромный тунец. Что, если незаметно сунуть его в корзину? Не влезет. Такого придется схватить

обеими руками, прижать к груди, умчаться с закрытыми глазами в деревню, а там поглядеть, что будет дальше. Тунец — главная драгоценность рынка, изумруд моря. Рука сама потянулась к нему, но я не смогла довести дело до конца. Тунец был слишком крупной добычей, требующей не столько дерзости, сколько безрассудства.

С громогласными общими приветствиями в подвальную лавку вошла подруга Ингмара, шведка, владелица одного из самых дорогих пляжных ресторанов. Кто-то похвалил ее бирюзовые замшевые туфли, украшенные рядом золотых колокольчиков, пришитых поперек мысков. Молодая и богатая, она — все знали — делала закупки для своего ресторана. На ней было розовое, вязанное крючком платье, а губы она подвела розовым карандашом — один лишь контур. Не знаю, кому нужен контур вместо губ. Она приказала торговке зачерпнуть трех лобстеров и морского ангела, а также прикинуть на весах тунца. У нее был чересчур зычный голос. Может, она сама себя не слышала, но мы-то слышали ее хорошо. Колокольчики на туфлях тренькали при малейшем движении ног. Рестораторша стала торговаться за тунца, и все умолкли, а она пригрозила. Мол, у нее и так прибыли мизерные,

а если тут цены задраны, так она и в Альмерии может закупки делать.

Очевидно, повышение голоса привлекает внимание и внушает страх, но вот была ли она дерзкой? Хотела ли я набраться такой дерзости, как у нее? Какого оттенка дерзости хотела добиться я?

Отодвинувшись от ее локтей, я заняла выгодное место для обзора груды слизистых осьминогов, какими с вожделением лакомился Гомес. Украсть такого *pulpo,* бесформенного и мягкого, не составляло труда. Я просунула свою корзину под мраморный прилавок и мысленно приготовилась смахнуть в нее *pulpo.* Но остановилась. Ощутила себя не столько дерзкой, сколько неуклюжей. Будь он жив — изменил бы внешний вид, имитируя свою похитительницу. Мог бы даже скопировать цвет и текстуру моей человеческой кожи, которая, кстати сказать, тоже подчас меняет цвет: от волнения, унижения или страха. Его кожа может отображать настроение, краснеть, как я обычно краснею, когда меня просят произнести по слогам мою фамилию. Мне было стыдно смотреть в его умные, мертвые, странные глаза с расширенными зрачками, поэтому я отвернулась — и тут увидела свою рыбу. Она с негодованием

таращилась прямо на меня. Крупная дорада была вне себя. Я поняла: ей предначертано стать моей.

Подруга Ингмара сослужила мне добрую службу, приковав к себе всеобщее внимание. В своем кругу она не пользовалась симпатией. Наглая, но не дерзкая.

Чтобы украсть дораду, нужно было победить боязнь разоблачения и позора. Я расслабила все мышцы до такой степени, что стала неподвижной как лист — можно сказать, как чайная заварка, что на рифмованном сленге кокни как раз и означает «блатарка». Очень медленно я придвинулась к рыбине, а сама левой рукой поправила ценник лангустинов, чтобы отвлечь торговку от моей правой руки, которая смахивала в корзину сердитую дораду.

Насколько я могла для себя уяснить, эту модель использует большинство политиков, чтобы управлять своими демократиями или диктатурами. Если в реальность правой руки вторгается левая рука, верно будет сказать, что реальность не есть устойчивый продукт. Кто-то толкнул меня в спину, довольно близко к ожогам, но я даже не обратила внимания и заспешила прямиком к выходу. Похвалила себя за расторопность, новую решимость и целеустремленность. Ощу-

щение целеустремленности меня ошеломило. Оно закрыло все двери к моим органам чувств — к ноздрям, глазам, рту, ушам. Я всецело сосредоточилась на главном, отгородившись от всего происходящего. Целеустремленность предполагает готовность чем-то пожертвовать, чтобы взамен обрести нечто другое, но стоит ли игра свеч, я пока не знала.

На кухне нашего пляжного домика я подняла дораду за хвост и встретилась с ней взглядом. Да, она по-прежнему негодовала. Настрой ее не изменился. Увесистая. Округлая, блестящая, гладкая. Большая рыбина. Я сняла ботинки и растопырила на полу пальцы ног. Под жалобный собачий вой, доносившийся из школы дайвинга, я ощутила всю мощь гравитации, тянувшей меня вниз. Придерживая рыбину за голову, я скоблила чешую тупым ножом. Пес Пабло выходил из себя, не умолкая ни на миг. Положив рыбу на бок, я пропорола ей брюхо от хвоста до головы. Греческая часть моей крови, та, что из Салоник, не нуждалась в гугле, чтобы узнать, как разделывают рыбу. Из распоротого брюха я вытащила внутренности, белые и скользкие. Древнегреческая ветвь моей семьи ловила камбалу на мелководье Эгейского моря. Йоркширская ветвь

моей семьи покупала рыбу на пирсе у рыбаков траулера, которые выстояли в северных морях, неся вахту на продуваемой жестокими ветрами палубе по десять часов в сутки.

В рыбе было полно крови. Она текла у меня по рукам. Если бы в дверь постучали в поисках краденого, я бы тут же была поймана с поличным.

Несчастная овчарка завыла с новыми силами. Ее переменчивость ввергала меня в совершенное безумие. Бросив нож, я помчалась босиком по песку ко входу школы дайвинга и распахнула дверь плечом, покрытым волдырями.

Пабло. Пабло. Пабло. Где же он?

Со стаканом вермута в руке Пабло навис над своим компьютером. Грузный, пожилой, с густыми, давно не мытыми черными волосами, расчесанными на косой пробор, он посмотрел на меня большими сонными карими глазами и отпрянул.

Отвяжи собаку, Пабло.

Позади него, на стене, висело зеркало. У меня на щеках остались потеки рыбьей крови, в волосах, превратившихся от ежедневного купания в жесткий колтун, запутались рыбьи внутренности. Своим видом я напоминала морское чудовище, возникшее из ракушек и морских звезд, укра-

сивших зеркальную раму. Я снова вселяла в себя ужас — и в Пабло тоже.

Он отодвинул стул, словно приготовившись бежать, а затем, должно быть, передумал, потому что придвинулся обратно и поднял руку к глазам. На мизинце красовалось золотое кольцо. Казалось, этот золотой ободок врастает в плоть.

— Если не уберешься за пределы моей собственности, — сказал он, — я вызову полицию.

Чтобы разобрать остальное, мне пришлось напрячь слух, потому что собака почуяла близкую свободу, но расслышала я только нечто вроде «коп в нашей деревне — мой брат, в соседней — мой двоюродный брат, а шериф Карбонераса — мой лучший друг».

Схватив его за руку со впившимся в нее золотом, я уперлась лбом ему в лоб; тем временем его правая рука что-то нашаривала под столом. Возможно, аварийную кнопку, ведущую к его расширенной семье копов. Мне было сказано убраться с дороги, чтобы он мог подняться на крышу.

Я отступила назад. Крупный мужчина. Чтобы не потерять равновесие, пока он будет протискиваться мимо, я прижалась рукой к свежеокрашенной белой стене. На ней остался кровавый

отпечаток, поэтому я прикоснулась к ней еще раз. И еще. Стена школы дайвинга начала покрываться подобием наскальных рисунков.

Ругаясь и обзывая меня по-испански, Пабло двинулся вверх по ступенькам. В руках он держал кость — желтую вонючую кость. Вот до чего он пытался дотянуться под столом.

Пабло оказался на крыше, с собакой и костью. Отшвырнул ногой стул. Собачий лай сменился рычанием, а Пабло прищелкивал языком, успокаивая, по всей видимости, своего пса. Я услышала, как над головой упал и разлетелся на черепки цветочный горшок.

В вестибюле школы дайвинга было прохладно. На столе у Пабло надрывался телефон, стоящий рядом с догорающей спиралью цитронеллы и стаканом вермута. Ожил автоответчик: «Мы говорим на немецком, нидерландском, английском и испанском. Готовы обучить начинающих до уровня специалистов».

Поднеся стакан к потрескавшимся губам, я спокойно, не торопясь, сделала маленький глоток. В новой тишине я услышала море, словно припала ухом к океаническому дну. Слышно было все. Землетрясение корабельной палубы и шастанье крабов-пауков среди морских водорослей.

Аскеза и роскошество

— Зоффи! Скоро начнутся зверства!

Чтобы отпраздновать освобождение собаки Пабло, я позвонила Ингрид и пригласила ее на дораду-гриль. Ингрид сказала — да, придет в девять вечера.

Я приняла душ, воспользовалась маслом для волос и сбегала на площадь, чтобы с грузовика купить арбуз у женщины, которую сначала приняла за мужчину. Она сидела на водительском месте с внучком, раскинувшимся у нее на коленях. Оба ели инжир. Пыльный лиловый инжир цвета сумерек. Женщина поручила мальчику выбрать для меня арбуз, что тот и сделал; вырученные деньги она положила в холщовый кошель, висевший на поясе черного платья. Босоножки ее были засунуты в отделение дверцы грузовика. На боку правой ступни, как я заметила, круглым островком наросла косточка. Сильные руки загорели до черноты, скулы опалило солнцем; чтобы освободить место для внука, когда тот карабкался обратно к ней на колени, женщина подвинула мощный таз. Ее тело. Кого призвано

радовать такое тело? В чем его предназначение, действительно ли оно уродливо или тут дело в другом? Касаясь подбородком детской головы, она молча сунула внуку очередной плод инжира. Бабка-фермерша, сама себе хозяйка, с прижатой к чреву сумой.

Только я взялась за стряпню, как в незапертую дверь без стука вошла Ингрид Бауэр. На ней были серебристые шорты и все те же серебристые сандалии-гладиаторы со шнуровкой до колен. Ногти на ногах блестели серебристым лаком. Я проводила ее на террасу к столику, который успела накрыть для пиршества. Откопала даже одинаковые тарелки, столовые приборы и бокалы для вина. В холодильнике охлаждались ломти арбуза с листиками мяты. Я приготовила чизкейк. Да, на сей раз я своими руками приготовила горьковато-сладкий чизкейк амаретто с бисквитом амаретти, приторным ликером амаретто и горькой цедрой красных сицилийских апельсинов.

Так началась моя дерзкая жизнь.

Я предложила Ингрид вина, но ей захотелось воды. Меня это не обескуражило: мы прошли в дом, где всегда есть запас воды для Розы. Вода оказалась вполне подходящей — так сочла Ингрид. И придвинулась ко мне.

Потом еще ближе.

— Значит, ты освободила собаку?

— Да.

— Ты смотрела ей в глаза?

Мы обе знали, что в тот день Пабло на виду у всей деревни уже выгуливал собаку. Это был сущий кошмар. Пес чуть не откусил руку одной бельгийке, ожидавшей сдачу в баре. Пабло волей-неволей надел ему намордник, а сам горланил и пинал все на своем пути. Еще неизвестно, кому больше нужен намордник, но на защите Пабло стоит личная армия копов.

— Поздравляю, Зоффи!

Она вручила мне подарок: желтый шелковый топ с завязкой вокруг шеи. Сказала, что шелк успокоит ожоги от медузы, и указала на левую половину, где голубой шелковой ниткой вышила мои инициалы. СП. А ниже — единственное слово: «Обесславленная».

Обесславленная.

Быть обесславленной — понятие от меня весьма далекое. От шелкового топа исходил запах ее шампуня, меда, чайного дерева, перца. Ни одна из нас не говорила вслух «обесславленная», но мы знали: это слово на месте и скреплено иглой. Ингрид сказала, что при наличии подходящей

иголки может вышивать на любом материале: хоть на обуви, хоть на кожаном поясе, даже на металле, не говоря уже о всех видах пластика, но больше всего она любит работать с шелком.

— Он живой, как птенец, — добавила она. — Ловлю его иголкой и подчиняю себе.

Рукоделие, по ее словам, помогало ей сохранять душевное равновесие. Ей нравилось латать то, что на первый взгляд уже не подлежит ремонту. Она часто брала в руки лупу, чтобы придумать, как задекорировать какую-нибудь прореху, не нарушив узора. Иголка служила ей инструментом мысли — Ингрид вышивала все, что всплывало у нее в сознании. Она выработала для себя правило: никогда не подвергать цензуре возникшие слова и образы. Сегодня она украсила вышивкой две футболки и подол юбки: на них появились змея, звезда и сигара.

Я попросила ее повторить, что она сейчас сказала.

— Змея. Звезда. Сигара.

А слово, вышитое на моем топе, пришло ей в голову оттого, что она вспомнила свою сестру из Дюссельдорфа.

— Как зовут твою сестру?

— Ханна.

— Старше тебя или младше?
— Я ее злая старшая сестра.
— Почему злая?
— Задай этот вопрос Мэтти.
— Но я задала его тебе.
— Ладно уж, расскажу.

Она жадно выпила воду и со стуком поставила стакан. На зеленые глаза навернулись слезы.

— Нет, не буду. Давай лучше о вышивке.

Оказывается, в местном винтажном магазине лежат груды одежды, дожидающейся преображения под ее иглой. То же самое и в Берлине, а теперь у нее появился свой человек даже в Китае — тюками переправляет ей вещи для отделки. Больше всего ее привлекает геометрия, которую она, кстати, изучала в университете, в Баварии, а иглы она ценит за их точность. Тяга к геометрии и структурированию стимулирует поток мысли. Симметрия не сковывает мысль, а, наоборот, делает ее свободной. Такой свободной, какой вовек не стать собаке Пабло.

Рукой с холодными, как иглы, пальцами Ингрид обняла меня за плечи. Не ожидала почувствовать на себе вес единственного слова — «Обесславленная», начертанного голубым шелком под моими плывущими сверху инициалами. Ингрид выпу-

стила это слово на волю — так она сказала: все, что приходит ей в голову, перетекает в рисунок вышивки.

Утерев глаза тыльной стороной руки, Ингрид объявила, что остаться не сможет.

— Не уходи, Ингрид.

Я поцеловала ее в мокрую щеку и прошептала благодарность за драгоценный подарок. В проколотых мочках ее ушей лучились жемчужинки.

— Все равно ты вечно в работе, Зоффи. Не хочу тебя отвлекать.

— Я вечно в работе? Что ты имеешь в виду?

— Для тебя все люди — объекты изучения. Мне от этого не по себе. Словно я все время у тебя под наблюдением. В чем разница между изучением антропологии и ее применением?

— Ну, за ее применение я могла бы получать деньги.

— Я о другом. Короче, понадобятся деньги — обращайся. Мне пора.

В тот вечер Ингрид и Мэтью встречались с друзьями в закусочной. После они собирались за город, на ночную вечеринку под открытым небом, которую устраивал их знакомый диджей. В этот момент Мэтью уже развешивал гирлянды лампочек. А ей поручили набить сумки льдом,

кинуть в машину ведра и привезти все это к месту сбора, но она взялась вышивать мой топ. Когда все соберутся, пиво окажется теплым, и в некотором роде по моей вине.

— Спасибо за воду, Зоффи. Как раз вовремя — потом я буду в отключке.

Выйдя через незапертую дверь, она — я видела — пару секунд помедлила на террасе, у накрытого на двоих стола. А потом двинулась дальше, к своей настоящей жизни.

Так вот, значит, каково это — быть любимой Ингрид Бауэр?

На кухонном столе рядом с поддельной древнегреческой вазой лежали два острых ножа. Я убрала их в ящик и поближе рассмотрела шафранно-желтую вазу. Выполнена в форме урны, с черным полимерным фризом, изображающим семерку стоящих в очереди к фонтану рабынь; каждая держит на голове кувшин. Очевидно, это была копия, но она исторически верно показывала бытовую сценку. Проложить водопровод в городах Древней Греции стоило немалых трудов, поэтому за водой ходили к общественному фонтану. Богачи разбавляли вино водой, которую приносили им домой рабыни, но у самих рабынь собственного дома не было. Сегодня я впервые

пригласила гостью в свой временный испанский дом. Но стоило мне спросить про сестру Ингрид, как все пошло наперекосяк.

Выключив духовку, где запекалась дорада, я сама не заметила, как очутилась на пляже, по дороге к пункту первой помощи.

У меня прибавлялось дерзости.

Я пригласила студента разделить со мной ужин.

Сначала он удивился, потом обрадовался.

— Может, ты захочешь узнать, как меня зовут: Хуан, — сказал он.

— Захочу, — ответила я. — Мне понадобятся и другие сведения: возраст, страна происхождения, род занятий.

Он подшивал в папку сегодняшние бланки (зарегистрировано четырнадцать укусов): управится минут за двадцать и присоединится ко мне; за приглашение очень благодарен. А слышала ли я, что собака Пабло повалила шеренгу пляжных тентов? За ней погнались братья Пабло, но собака от ужаса бросилась в море, заплыла на глубину — и с концами. Куда делась — никто не знает; может, утонула.

Если немецкая овчарка еще жива, в медпункт хлынут укушенные, причем отнюдь не медуза-

ми. Студент посмеялся и собрал пальцами свои каштановые волосы. Шея длинная, изящная.

— Пабло говорит, ты ему угрожала.

— Да, кровью рыбы, которую мы с тобой вот-вот съедим.

Наши глаза встретились; я смотрела на него, облеченная властью любимой. Понятно, что Ингрид меня отвергла, но этот факт я вычеркнула из передаваемого глазами сообщения.

Пришел он с четырьмя бутылками пива, которые, по его словам, хранились у него в холодильнике медпункта. Он справился о моей матери. Я сказала, что она спит, причем впервые не стала задергивать шторы, чтобы спрятаться от «измотанных звезд». Сидя напротив друг друга на террасе, за столом, накрытым для двоих, мы ели дораду. Под серебристой кожей была нежная белая плоть. Студент объяснил, что рыба потому такая сочная, что между кожей и мякотью имеется слой жира. Потом, в теплой ночи, мы плавали голышом, и он целовал все мои ожоги от медуз, все рубцы и волдыри — мне даже сделалось обидно, что их не так уж много. Меня пронзило желание. Он стал моим возлюбленным, а я — его завоевательницей. Пожалуй, я была

очень дерзкой.

Она вырвала мне сердце своими клешнями чудовища.

Побрякушка

Пока Роза обессиленно сидела за рулем взятой напрокат машины, я протирала тряпкой окна. Было одиннадцать утра; солнце обжигало мне шею. Мама захотела, чтобы мы съездили на воскресный рынок рядом с аэропортом — купить на всю неделю фруктов и овощей. От Хуана я знала, на каком прилавке продается сладкий зеленый виноград из Северной Африки, а кроме того, мне требовалась банка кокосового молока для Ингрид, позвавшей меня делать домашнее мороженое. Роза была на удивление молчалива и досадовала менее обычного. Характерное мамино выражение лица — легкая досада с тенью обиды, не столько на меня (хотя, конечно, не без этого), сколько на весь свет.

— Вечно ты где-то далеко, София.

Нет. Я всегда слишком близко. К ее неудовольствию.

Ожоги от медузы пульсируют, но мне нравится их ощущать, как и ощущать слово «Обесславленная», вышитое на новом шелковом топе. «Обесславленная» — противоядие от ожогов.

Роза с нетерпением заводит двигатель, поэтому я бросаю тряпку в ведро, которое прячу под раскладным щитом «СЕМЕЙНЫЙ ОТЕЛЬ. ЕСТЬ СВОБОДНЫЕ НОМЕРА» со стрелкой, что указывает на пыльную колею, ведущую, надо думать, туда, где обосновались семьи. Бурлящие, кипящие, клокочущие семьи: моногамные, полигамные, матрилинейные, патрилинейные, ядерные.

Мы — мать и дочь, но разве мы семья?

Я захлопнула дверцу машины.

Как моя мать собиралась вести машину без чувствительности в ногах? Ну, как-то… Перемещала ступни от сцепления к тормозу и педали газа, а мне оставалось лишь надеяться, что я вернусь домой целой и невредимой, чтобы опять подавать маме не ту воду. К рынку вела прямая, только что залитая гудроном дорога. Роза не сбрасывала скорость. Высунув из окна левый локоть, она наслаждалась. Когда она спросила, почему я не удосужилась получить права, пришлось напомнить ей, что я четыре раза пересдавала как вождение, так и теорию, после чего поставила в этом деле точку и купила велосипед.

— Да-да, — сказала она. — Не могу представить тебя за рулем.

Откуда у нас берется мысль о неспособности

что-либо представить? Если я скажу, что не могу представить человеческую сексуальность? Что, если я могу представить человеческую сексуальность исключительно такой, какой до меня описали ее другие? А если я не могу представить другую культуру? Как бы начинался и заканчивался мой день, если бы мне оказалось не под силу представить Грецию, родину моего отца? Что, если невозможно представить, как он тоскует по брошенной дочке и надеется на примирение?

Я взглянула на материнскую стопу, покоящуюся на педали тормоза. Пальцы ноги изящно и уверенно сдвигались в сторону и возвращались на педаль.

— Могу представить, как ты идешь вдоль всего пляжа, — сказала я.

В ответ она завела на мотив гимна: «На этот длинный пляж морской ступала ль мамина нога?»

Если бы… Мамины ноги почти все время бастуют, но я точно не знаю, о чем она ведет с ними переговоры и каким будет решающий аргумент. Ноги у нее сорокового размера. Огромная челюсть. У наших предков потому развился выступающий подбородок, что они постоянно дрались. Недовольство требует больших усилий.

Моей матери выдающаяся вперед челюсть нужна для того, чтобы отпугнуть любого, кто встанет на ее пути к тайнику недовольства. Мне нужно найти другое увлечение — я столько не зарабатываю, чтобы поддерживать в себе интерес к ее симптомам. Я забросила аспирантуру, которая могла способствовать переключению моего интереса с личных проблем на общественные и дать мне свободу преподавать науку, занимающую все мое время. Получение свободы — еще одна из моих проблем.

Включив поворотник, Роза свернула на другое шоссе — к морю.

— Сдается мне, в Альмерии ты обзавелась друзьями?

Я пропускаю это мимо ушей.

— Должна кое-что тебе рассказать о твоем отце. В сравнении с моим он очень мягкий человек.

Я бы охотно проглотила какую-нибудь из тех таблеток, что она пьет от дурноты, но их исключили из списка ее медикаментов. Очевидно, мой отец настолько мягок, что за одиннадцать лет не собрался с силами дать о себе знать.

Возможно, «истории болезней» с Джульеттой Гомес предлагали Розе другой взгляд на ее бывшего мужа. Но при этом у нее сложились кое-какие

взгляды на саму сестру Солнце. Не сбрасывая скорость, мама сказала, что для нее предельно ясно: Джульетта — пьянь. Во время сеансов физиотерапии от нее часто несет алкоголем. Если откровенно, это был вопрос сугубо этический.

На дороге она лихачила. Затаив дыхание, я кусала потрескавшиеся губы.

— Джульетта проницательна. Очень умна. И никогда не осуждает меня, София, поэтому и я не хочу ее судить. Но я просто не знаю, что и думать; придется подыскать другие варианты.

Сейчас Роза при помощи Джульетты Гомес оформила для архива три «истории болезни». Она стала более вдумчивой, скрытной, может, даже доброй, хотя по-прежнему терпеть не могла белую кошку Джодо, которую теперь поневоле числила среди персонала клиники. Начни Джодо делать ей инъекции витаминов, она бы не удивилась. Гомес рекомендовал маме нанести на ступни изображение кошки, чтобы днями напролет топтать Джодо.

Я считаю, его рекомендация — ловкий способ заставить Розу ходить.

Мы припарковались у подъездной дорожки пустующего дома на краю шоссе. На крыльце валялось ненужное рваное тряпье. Вынимая из

багажника инвалидную коляску, я видела через дорогу необъятный рынок. Низко пролетел самолет, готовясь к посадке в ближайшем аэропорту. Таскать на себе маму — работа не из легких. Наконец она усаживается. Везу ее по раскаленному асфальту к ларьку, возле которого в тени стоит несколько столов и стульев. Роза потребовала занять очередь к палатке, где продаются пончики, с которыми отлично пойдет рюмочка анисового ликера. Свое пожелание она даже завершила словами «Спасибо, Фия».

Мы находимся посреди лунного пейзажа. Так во всех путеводителях описывается Альмерия. Исхлестанная ветром, иссушенная солнцем. Русла рек пересохли, растрескались. Над лохмотьями палаток, торгующих сумками, и красным виноградом, и луком, плывет голубоватая бензиновая дымка. Откатываю Розу в тень, под пластиковый навес на ржавых столбиках. Она уже разговорилась с сидящим там старичком, у которого забинтовано колено. Похоже, беседуют они о тросточках.

Пончики есть двух типов: длинные, как сосиски, их макают в шоколад, и другие, покороче. Покупаю длинные и приношу Розе анисовый ликер в бумажном стаканчике.

Старик размахивает в воздухе тростью и демонстрирует моей маме резиновый наконечник. Подсев к ним, изображаю увлеченность наконечником.

После дерзкой ночи любви под настоящими ночными звездами мною овладело беспокойство. Мне хочется сидеть здесь с возлюбленным, очень близко, вплотную, прикасаясь друг к другу. Вместо этого я сижу здесь с мамой, которая у меня своего рода профессиональный инвалид. Я молода и способна даже быть объектом эротических фантазий, изобретенных Хуаном, который при первом знакомстве заявил: «Мечта умерла». Способна я быть и любимой Ингрид, которая меня мучает.

Роза постукивает меня по руке.

— Фия, хочу купить часы.

Я засовываю в рот пончик. Хрустящий, маслянистый, обсыпанный сахарной пудрой. Стоит ли удивляться, что в Испании мое тело распространило свои формы на восток и на запад.

Дыхание Розы потеплело от аниса. Казалось, ей легче глотать огненный анисовый ликер, чем воду.

— Между прочим, если ты управляешь этими сложными кофе-машинами, то, поверь, сможешь

управлять и автомобилем. Водить — проще простого.

Когда она, запрокинув голову, в один присест влила в себя анисовый ликер, я думала, она собирается прополоскать им горло. В этот миг моя реальная мать и моя призрачная мать — женщина восхитительная, победительная, живая и здоровая — сплавились воедино. Это была очередная подходящая тема для новаторского полевого исследования: как воображение и реальность могут закувыркаться парой и наломать дров, но обдумать ее не удалось: меня слишком отвлекала продавщица головных уборов, нацепившая на себя самую экстравагантную шляпу из разложенного на прилавке товара. Со шляпы еще свисал ценник, болтавшийся на веревочке перед глазами продавщицы. Как будто она специально рассчитывала привлечь к себе внимание. Время от времени женщина потряхивала головой, чтобы ценник у нее перед носом хаотически прыгал из стороны в сторону.

Я встала и заняла свое место за коляской, подняла тормоз, что было трудно, поскольку шлепанцы на веревочной подошве так и норовили слететь с ног, и повезла маму по пыльной дороге, объезжая рытвины и кучки собачьего

дерьма; мимо проплывали сумки и бумажники, покрытые испариной сыры и шишковатые колбасы, иберийский хамон из Саламанки и вязки чоризо, пластиковые скатерти и чехлы для мобильных телефонов, куриные тушки, крутящиеся на стальных вертелах, вишни, помятые яблоки, апельсины и перцы, корзины с горками кускуса и куркумы, банки хариссы и лимонного джема, фонарики, гаечные ключи, молотки, а Роза между тем обмахивала ноги свернутым в трубочку «Лондонским книжным обозрением».

Я остановилась на пыльной дороге.

Моя мама способна почувствовать, что ей на ноги села муха.

Муха. Мама чувствует муху.

Значит, чувствительность у нее сохранилась. Да еще какая, обостренная.

Толкая кресло-каталку, я вглядывалась в неуютные серо-бетонные многоквартирные постройки, которые теперь, во время кризиса, были заброшены, и все время слышала свист ее литературной мухобойки.

— Стой, стой, стой.

Роза указывала на прилавок с дешевыми часами. Высокий африканец в изящном белом одеянии помахал ей левой рукой. Правая рука,

изогнутая в форме буквы С, была украшена множеством наушников: синих, красных и белых. Роза распорядилась пододвинуть кресло-каталку поближе и немедленно схватила блестящие, золотистые металлические часы на толстом браслете и с ободком искусственных бриллиантов вокруг циферблата.

— Всегда хотела гангстерские часы. Убийственная побрякушка.

— Почему убийственная?

— В клинике Гомеса меня медленно убивают, София. Лекарства отменяют, персоналу не хватает квалификации, чтобы поставить диагноз. Твердят, что все в норме. Разве у меня цветущий вид? — Она стукнула ногой о каталку. — Пока из-за язвы стопы предположили диабет. Единственное, что этот шаман со своей кошкой воспринимают серьезно.

Африканец осторожно высвободил часы из рук моей матери и начал жонглировать заводным ключом. Он поднес усыпанный бриллиантами циферблат к уху и потряс. Видимо, услышанное ему не понравилось. Он опустил руку в карман белого балахона и вынул маленькую отвертку. Как только он принялся разбирать часы, мне стало ясно, что Розе придется их купить.

Я выступила вперед.

— И сколько же стоят эти часы? — Руки в боки, словно я возмущена, хотя возмущения не было и в помине. Странно. Я изображала негодование, но мое сердце в этом не участвовало. Где я научилась изображать возмущение, которого не испытываю? Мой голос поднялся, можно сказать, до почти прокурорского тона. Где я научилась занимать позицию, в которую не верю? А как насчет слова «Обесславленная»? Когда Ингрид вышила его голубыми нитками и вручила мне как ни в чем не бывало, она, возможно, тоже изобразила то, чего не чувствовала.

Африканец ответил, что часы стоят всего лишь пятьдесят евро.

Я засмеялась, но сарказм — не то же самое, что смех, и он это знал.

Длинными пальцами он бережно держал маленький стальной кружок. Роза объявила, что это батарейка — можно подумать, новое изобретение.

Оба очень увлеклись батарейкой. Африканец кивал и улыбался в знак согласия, указывая на бриллианты, как на великую ценность. Роза раскраснелась от анисового ликера. Когда она начала пересчитывать бриллианты на ободке,

продавец понял, что ее запястье недолго будет оставаться голым. Я отметила, что у мамы прорезались обаяние и живость. Если подуть на ее имя, Rose, буквы передвинутся, и получится Eros, бог любви — окрыленный, но хромой.

Она протянула африканцу запястье, и тот закрепил на нем часы.

Было видно, что они слишком велики для ее изящных костей и всегда такими останутся. Продавец подтащил к креслу табуретку и попросил положить запястье ему на колено, чтобы отрегулировать браслет. Звенья браслета защемили пушок на маминой руке. Я вздрагивала, словно испытывала за нее эту маленькую боль. Сопереживание болезненнее, чем укусы медуз.

Пока мама продолжала церемонию покупки «убийственного» хронометра, я перешла к ларьку, торгующему среди всего прочего вениками и мышеловками. В контейнерах из алюминиевой фольги было представлено изобилие розовых и голубых именинных свечей. Три штуки за евро. Самыми дорогими оказались серебряные — они шли с подходящими серебряными подсвечниками для втыкания в торт. Я изучала разнообразие домашней утвари: швабры и ведра, горшки и кастрюли, деревянные ложки и ситечки. За всю

взрослую жизнь у меня еще ни разу не было своего собственного дома. Появись у меня дом, что бы я купила в этой лавке? Вероятно, у меня завелись мыши и моль, с которыми нужно бороться, и крысы, и мухи. Я взяла аэрозольный баллончик — освежитель воздуха, выполненный в форме фигуристой женщины. На ней был фартук в горошек, который не скрывал толстого живота и мощного бюста. Длинные закрученные ресницы, губки бантиком. Инструкции по применению переведены на итальянский, греческий, немецкий, датский и еще на один не опознанный мною язык, но в каждом она была «огнеопасна».

Была там и английская инструкция. Перед употреблением встряхнуть. Направить в центр помещения и распылить. Масштабами живота и бюста флакон напоминал фигурки древних богинь плодородия, найденные в Греции и датируемые примерно 6000 годом до нашей эры, только те не носили фартуков в горошек. Страдали ли они от ипохондрии? Истерии? Отличались ли дерзостью? Прихрамывали? Преисполнялись добротой?

Я купила освежитель для воздуха за четыре евро, потому что это был своего рода артефакт, описанный на множестве языков, и также пото-

му что, бесспорно, он воплощал представление о женщине (грудь-живот-передник-ресницы), а я была сбита с толку табличками в общественных *servicios*[5]. Не могла понять, почему один знак мужской, а другой — женский. Самый распространенный схематичный человечек не был ни мужчиной, ни женщиной. Нужен ли был мне аэрозоль, чтобы внести ясность? За какой чистотой я гналась?

Я покорила Хуана, Зевса-громовержца (по крайней мере, я так думала), но все знаки были перепутаны, потому что его работа в пункте первой помощи заключалась в обработке мест укуса мазью из тюбика. Студент выступал как мать, как сестра, возможно, отец; он стал моим возлюбленным. Скрываемся ли мы в знаках друг друга? Принадлежу ли я к тому же знаку, что и женщина-аэрозоль? Над рынком тяжело пролетел очередной самолет — его металлическое тело. Один летчик, с которым я познакомилась в «Кофехаусе», рассказывал, что самолет — это «машина», то есть «она». Его работой было поддерживать ее равновесие, делать ее продолжением своих рук, заставлять откликаться на легчайшие прикосно-

---

[5] Примечания: 5
Туалеты *(исп.)*.

вения. Она была чувствительной и нуждалась в деликатном обращении. Неделю спустя мы с ним переспали, и я узнала, что он тоже восприимчив к легчайшим касаниям.

Я гналась не за ясностью. Мне хотелось, чтобы все стало запутаннее.

Африканец и моя мама вроде бы хорошо поладили. Он снял часы с ее запястья, чтобы высвободить тонкий пушок, застрявший между звеньями в кольцах, и стал рассказывать историю Альмерии.

— «Альмерия» по-арабски означает «зеркало моря».

Роза притворялась, что слушает, но все ее внимание было приковано к усыпанным бриллиантами часам.

— Тикают! Я чувствую, как они тикают, потому что руки у меня не столь бесчувственны, как ноги.

Этот убийственный хронометр еще и тикал.

— Я с трудом хожу, — сообщила Роза африканскому торговцу.

С показным сочувствием он покачал головой, и Роза широким жестом помахала в воздухе купюрой в пятьдесят евро, а затем милостиво передала африканцу.

— Спасибо за уделенное нам время.

Когда он с нами попрощался, солнце уже согрело морскую воду в близстоящих ведрах с маслинами и гигантскими каперсами. От них пахло резким темным уксусом.

— Хочешь узнать время, София?

— О да, пожалуйста.

— Двенадцать сорок пять. Время приема исчезающих лекарств.

Мы вернулись к машине, и я попросила Розу выбраться из инвалидной коляски и постоять, пока я складываю коляску и засовываю в багажник.

— Это не вопрос воли, София. Сегодня я стоять не могу.

К тому времени, как я затолкала маму в машину, из-за ее стонов, жалоб, шипения и ругательств — все были направлены на меня и на мои недостатки, несовершенства и невыносимые привычки — мне действительно померещилось, что она — гангстер и пытается отнять у меня жизнь.

Сев на пассажирское сиденье, я хлопнула дверью и ждала, чтобы Роза увезла нас подальше от этого места, но она затихла, словно в шоке. Мы припарковались рядом с руинами дома, в котором, как полагали, никто не живет. Но сейчас стало видно, что, несмотря на дырявую крышу

и покореженные рамы, он обитаем. На веранде мать с маленькой дочкой ели похлебку. Сломано было все: тачка, коляска, стулья, стол и однорукая кукла, валявшаяся у машины.

Дом сломанный, во всех смыслах.

Моя мама была главой своей собственной маленькой сломанной семьи.

Ее обязанностью было останавливать диких животных, крадущихся через дверь и нагоняющих ужас на ее ребенка. Этот печальный дом был призраком, который она в себе несла: призраком страха не удержать волка за порогом нашей двери в лондонском Хакни. У меня было право на бесплатное школьное питание, и Роза знала, что я этого стыдилась. Обычно до ухода на работу она делала мне суп в термосе. Я несла его в тяжелом ранце, и суп протекал на тетрадки. Тот суп в термосе был мучением, но он доказывал маме, что волк еще не забрался в дом. В моем путеводителе целая страница посвящена иберийским волкам *(Canis lupus signatus)*, которые некогда хозяйничали в Альмерии. По всей видимости, во время диктатуры Франко проводилась специальная кампания по их истреблению. Конечно, некоторые из них выжили и не удосужились постучаться в дверь этого дома. Они вломились

через окна.

Самолет в небе прорезал белую тропинку.

Ребенок помахал ложкой моей матери.

— София, вези нас домой. — Роза бросила мне на колени ключи.

— Я не умею водить.

— Нет, умеешь. В любом случае тот анисовый ликер был слишком крепким, и я тоже не поведу.

Она начала проталкивать свое тело на пассажирское сиденье, поэтому мне пришлось выпрыгнуть из машины. Я обошла вокруг, села за руль и вставила ключ в зажигание. Движок завелся. Подергала ручной тормоз и сдала назад.

— Идеально. Идеальный задний ход.

Под колесами что-то хрустнуло.

— Это кукла того бедного ребенка, — сказала мама, выглядывая из окна. — Забудь, переключи скорость, включи поворотник, пристегнись, очень хорошо, поехали.

Пока я ехала со скоростью десять миль в час, Роза подалась вперед поправить зеркало.

— Быстрее.

Ехала я не на той передаче, но затем поправила ручку управления и на новой, пустой автомагистрали даже осмелилась прибавить скорость.

— София, с тобой я чувствую себя в полной безопасности. Только одно наблюдение.

— Какое?

— В Испании движение правостороннее.

Я засмеялась, и Роза сообщила мне, какое время показывают ее новые часы.

— Мы едем в гору — нужно переключить скорость. Видишь, нас пытаются обогнать?

— Да, я его вижу.

— Это она, — сказала Роза. — Она пытается тебя обогнать, потому что видимость безупречная — она видит, что встречных автомобилей нет. Час дня, между прочим.

После работы с тремя кофе-машинами водить — легкотня, как Роза и говорила.

В багажнике что-то перекатывалось. При каждом повороте стучалось о стенки. Я замедлила ход — машина внезапно дернулась и остановилась.

— Тебе нужно найти лучший баланс между тормозом и газом. Поставь рычаг на нейтралку и снова заводи.

«Берлинго» дернулся вперед, и предмет в багажнике загромыхал.

— Какая же это нейтралка? — Роза поправила скорость за меня, и мы двинулись. — Меня волнует не отсутствие у тебя прав, а отсутствие очков.

Придется мне быть твоими глазами.

Она мои глаза. Я — ее ноги.

После того как мы приехали на стоянку на краю деревушки и я включила ручной тормоз, Роза объявила, что у нее новый шофер.

Моя любовь к матери — как топор. Рубит очень глубоко.

Она вытянула палец, чтобы потрогать смазанные маслом кудряшки у меня на затылке.

— Не знаю, что ты делаешь со своими волосами, Фия. Напоминаешь мне таксиста, который во время нашего медового месяца на Кефалонии, везя в отель меня и твоего отца, умудрился заблудиться.

Она жестом попросила передать ей ключи.

— Твой отец очень гордился своей шевелюрой, но мне не разрешалось ее трогать. Тогда у него были длинные черные волосы, падавшие на плечи мягкими локонами. В итоге я начала считать их магическими.

Ничего этого я знать не хотела. Но, как она сказала Гомесу, я была ее единственной.

Когда в своей новой роли шофера я открыла для нее дверь, она сказала, что пройдется до дома самостоятельно. Ходить, как оказалось, — совсем не проблема. Я оставила ее и обшарила багажник

в поисках предмета, который перекатывался туда-сюда. Когда наконец он обнаружился, я предположила, что его, должно быть, спрятал там Мэтью, выбрав для нас автомобиль и оформив документы в присутствии сестры Солнце.

Это был баллончик синей краски.

Роза опиралась на пальмовый ствол у края стоянки. Согбенная, она словно держала на себе тяжесть, которую не способна вынести.

Грубые забавы

ПОЦЕЛУЙ. Мы о нем не говорим, но вот он, тут, в кокосовом мороженом, которое мы готовим вместе. Поцелуй витает здесь, между нами, хотя Ингрид сейчас перочинным ножичком высвобождает из стручка зерна ванили. Поцелуй затаился в ее длинных ресницах, в яичных желтках и сливках, он вышит голубой шелковистой нитью при помощи иглы, в которой живет ум Ингрид. Сама не знаю, чего я хочу от Ингрид, почему ей нравится меня унижать и почему я с этим мирюсь.

Похоже, я дала согласие на подрыв себя другими.

Она показывает мне одежду, которая громоздится в корзинах, расставленных по всему их испанскому дому, и откапывает белый атласный сарафан на тонкой изношенной тесемке. На подоле какая-то клякса, но Ингрид утверждает, что сейчас ничего лучше атласа для меня не придумать. Как дойдут руки — она сразу приведет его в порядок; понятно же, что волдыри, где ужалила медуза, все время болят.

Болят они не все время, но я не хочу ее обескураживать. Пока мы ждем, чтобы застыло наше мороженое, она берет прядь моих волос и наматывает себе на палец.

— Дай-ка я выстригу этот узелок, — говорит Ингрид.

Протянув руку, она хватает причудливые острые ножницы, лежащие поверх корзины с одеждой. Лезвия отгрызают мне волосы. Я оборачиваюсь: Ингрид победно держит перед собой трофей — толстый жгут моих завитков. Мне делается неловко, но все равно это интересней, чем ждать, когда у мамы проявятся побочные эффекты от лекарств и абстинентный синдром после их отмены. Может, чувство неловкости — это побочный эффект?

— Зоффи, а правда, что антропологи крадут из могил головы для замеров и всяких классификаций?

— Нет, так только в старину поступали. Я не ищу головы в могилах.

— А что ты ищешь?

— Ничего.

— Честно, Зоффи?

— Да.

— Чем интересно «ничего»?

— Тем, что оно покрывает собой все.

Она ткнула меня в локоть.

— Ты слишком много времени проводишь в одиночестве. Тебе надо бы что-нибудь смастерить своими руками.

— Например?

— Мостик.

Если Ингрид — мой мостик через лежащее внизу болото, она при каждой нашей встрече вынимает из опор несколько кирпичей. Это смахивает на эротический обряд. Если получится у меня перейти на другой берег и не свалиться в трясину, может, я буду вознаграждена за свои мучения? У Ингрид соблазнительные губы, мягкие, сочные. Она уравновешенна, неразговорчива, но слово, которое она выбрала, «Обесславленная», — это серьезное слово.

Ингрид отправляет меня в сад — посидеть с Мэтью, только что вернувшимся с работы.

Тот лежит в гамаке, под сенью двух деревьев.

— Сегодня был ис-клю-чи-тель-ный случай. — Оттолкнувшись ногой от ствола, Мэтью раскачивается на гамаке из стороны в сторону. — Самое трудное, Софи, — заставить человека проявить свое истинное «я».

Он машет листве у себя над головой, как будто

хочет наколдовать какое-нибудь «я», достаточно истинное.

Мэтью, оказывается, работает инструктором по персональному росту. Помогает младшим менеджерам совершенствовать навыки общения и продавать свой бренд, причем с юмором и живостью. Проявляет ли Мэтью свое истинное «я»?

Парень он дружелюбный, хотя и скользкий, но я его не виню, потому что его подруга замутила со мной, и сам он тоже где-то шустрит, но мне трудно разобраться, что происходит. Как будто его правая рука написала интимную записку Джульетте Гомес, пока левая ласкала длинные загорелые ляжки Ингрид Бауэр.

На серебряном подносе Ингрид подает домашний лимонад, серебряные щипцы, веточку свежей мяты и кувшин со льдом. Походя чмокнув Мэтью в щеку, она наполняет пластиковый стакан льдом и сверху наливает лимонад, а потом добавляет ломтик лайма и пару листочков мяты. На жену она не тянет. Так, официантка в коктейль-баре, а по совместительству спортсменка и математик — изучала геометрию. Кроме того, она вышивальщица: заказчики у нее аж из Китая. А помимо всего прочего, она «злая старшая сестра», но об этом распространяться не любит.

Мэтью — страстный коллекционер вин. Он посещает курсы, где преподают виноделы, оптовики и сомелье, которые специализируются на конкретных сортах винограда и винодельческих регионах. В Испании он нашел родственную душу, такого же знатока вин по имени Леонардо: тот работает инструктором по верховой езде и имеет в собственности «кортихо» — загородный дом с конюшнями. Ингрид снимает у него одну из комнат для своих занятий рукоделием. Работает она два дня в неделю, по вторникам и средам, потому что жизнь коротка и Мэтью (он и сам, кстати, короток) тоскует, когда ее нет рядом.

— Зоффи, может, тебе интересно будет посмотреть кортихо? Машинки у меня старинные, из Индии. Купила их на eBay — и горя не знаю. Они массивные, просто шикарные.

Мэтью это неинтересно, и он заводит разговор о себе. Себя он считает очень привлекательным, и, похоже, у Ингрид есть к нему влечение. Он весь лучится от веры в собственные возможности.

А я знаю о себе лишь одно: я пошла трещинами, и молоточком стала Ингрид.

Мэтью требует, чтобы Ингрид пересела в тень. Она пропускает это мимо ушей и остается сидеть на солнцепеке, рядом со мной.

Подняв голову, он мне улыбается, словно мы оба печемся о комфорте Ингрид.

— Скажи, пусть Инге пересядет. У нее бледная кожа, ей солнечные лучи не полезны.

Я трясу кудрями:

— Солнце — это секс.

Выудив пальцами из своего стакана листок мяты, Мэтью принимается его жевать.

— Вопрос непростой, Софи. В научном сообществе нет единого мнения по поводу солнечных лучей. Солнце ежедневно обогревает нашу планету, но делает нас слепыми.

— Слепыми к чему?

— К нашей повседневности. От них один соблазн.

Коль скоро речь зашла о повседневности, Мэтью осведомляется насчет моей матери.

— Значит, вы заплатили клинике Гомеса уйму денег?

— Да.

Убрав за уши свои белокурые волосы, он понимающе кивает.

— Я тебе вот что скажу, Софи: этому так называемому «врачу» давно пора дать пинка.

— Может, ты и прав.

— Конечно, я прав. Гомес попросту опасен, да к

тому же он редкостный мудак.

— А ты откуда знаешь?

— Я сейчас провожу тренинг для одного топ-менеджера из Лос-Анджелеса. Он говорит, что Гомес — позорный шаман.

Во время нашего с ним разговора Ингрид держит на одном колене горшочек с отростком кактуса и выкладывает его галькой.

— Зоффи просто пытается помочь маме, а твой клиент — сомнительный тип.

Под скрип и раскачивание гамака Мэтью м-е-д-л-е-н-н-о качает головой.

— Нет. Он не сомнительный тип. Тони Джеймс — потрясающий мужик. Сегодня мы с ним делали упражнение: он должен был вести беседу и одновременно подбрасывать и ловить мячик для гольфа. Раньше этот человек был зомбирован, а теперь свободен. Как будто светофор переключился. — Вытянув руку вверх, Мэтью кончиками пальцев шевелит листья у себя над головой.

Мне нужно набираться дерзости. Мне недостает куража, целеустремленности и последовательного мышления.

— А Тони Джеймс случайно не в фармацевтической компании работает?

Мэтью бросает на землю пустой стакан из-под

лимонада.

— Угу.

Цикады подняли свою послеполуденную тревогу.

«Угу» — хорошая тема для оригинального полевого исследования.

«Угу» покрыло тему фармацевтической компании белым пластиком, какой покрывает помидоры и перцы на потогонных фермах среди пустыни. А Мэтью покрыл мраморную стену клиники Гомеса надписью «Солнце = секс». И при этом он вроде бы зол на Джульетту Гомес.

У меня нет уверенности, что Мэтью по-настоящему любит Ингрид.

Через некоторое время говорю, что мне нравится его красный кожаный ремень.

— Спасибо. Мне тоже — это подарок Ингрид. — Он явно рад вернуться к теме.

Антропологам нередко приходится уклоняться от темы, иначе нам было бы не перестроить свои системы взглядов. Никто не разоблачал бы наших маневров. Никто не говорил бы нам, что наша реальность несовместима с другими реальностями, и не понимал бы закономерностей организации деревни и расположения ее жилых строений, ее отношения к жизни и смерти, ее причин селить

женщин на окраинах.

Мэтью гнет свое. Он поудобнее устраивается в гамаке и раскачивается с новой силой, а сам объясняет сущность разработанной им для клиентов методики оптимизации презентаций в *PowerPoint.* В его обязанности входит научить их подавать себя и свои ценности, одной своей позой выражать авторитетность и уверенность и не стесняться отпускать шуточки для активизации внимания слушателей. Он запрещает употреблять такие выражения, как «Хвост виляет собакой» или «Вы — звезда». Топ-менеджеры всегда спотыкаются на бегущей строке, и он предлагает им стратегии, позволяющие избежать запинок или, по крайней мере, использовать запинки к своей выгоде вместо того, чтобы делать вид, будто ничего не случилось. Он получает удовлетворение, когда удается помочь клиентам раскрыть свой лидерский потенциал. Когда они признаются, что не умеют выступать на публике или не пользуются симпатией подчиненных, в его отношениях с такими клиентами возникает чувство сродни любви. Он поощряет их развивать в себе эксцентричность. Не далее как вчера он порекомендовал мистеру Джеймсу из Лос-Анджелеса на все деловые встречи брать с собой

мяч для гольфа. Подбрасывание мяча во время переговоров станет его фишкой.

Мэтью вытягивает руки по краям гамака, изображая полет. Странно: в его разглагольствованиях мне слышались отголоски того, что скупо излагала Джульетта Гомес, составляя историю болезни моей матери. Правда, в устах Мэтью эти положения приобретали несколько иной смысл. Невольно думалось, что он позаимствовал ее методы, чтобы воспользоваться ими в своих целях. Топ-менеджеры, приезжающие к нему на тренинг, — это священные быки. Он помогает им создать свой имидж, маску, из-под которой можно авторитетно вещать от имени своего бренда. Лицо должно без единого шва срастись с маской. Если же этот агрегат даст трещину, клиенту достаточно будет повторно обратиться к Мэтью, и тот устранит все дефекты.

Ингрид переходит в тень и останавливается под деревом. Я впервые замечаю у нее в пупке зеленое украшение в виде слезки. В пальцы ей вонзились иголки от кактуса, и она просит Мэтью их вытащить.

— Эй, держись подальше от моего гамака, Инге. — В его голосе звучит смутная угроза.

Она машет у него перед лицом своими остроко-

нечными пальцами.

— Умолкни, Мэтти. — Ингрид указывает на свои губы и жестом как будто застегивает их на «молнию». — Зоффи без передышки занимается полевыми исследованиями. Все берет на карандаш. Увидишь: она сделает доклад по твоей методике личностного роста — и разболтает твои секреты.

— Соблюдай дистанцию, Инге. Это мой гамак, и раскачивать меня не надо.

Можно подумать, Мэтью выводит ее на чистую воду.

Она возвращается в тень и кладет руку мне на колено.

— Ну и ладно. Мне Зоффи вытащит занозы.

— А чем ты вообще занимаешься, Софи? — с закрытыми глазами говорит через ее голову Мэтью, слегка раскачиваясь под деревьями.

— Готовлю эксклюзивный кофе.

— Дело хорошее. А как ты добиваешься высокого качества?

— За счет сортовых бобов, степени помола и особенностей пропуска воды через кофе.

Он серьезно кивает, будто мы обсуждаем нечто важное.

— И какова твоя цель?

— То есть?

— Ну, есть у тебя какие-нибудь безумные желания: получить должность, срубить денег, войти в игру? Если тебе понадобится написать, причем невидимыми чернилами, список своих желаний, что в него войдет?

Вижу, как заливается краской мое лицо в многочисленных клинообразных осколках зеркала, которыми выложена земля вокруг растений пустыни у них в саду.

— У Зоффи в списке желаний ничего нет. Ничего-ничего-ничего.

Остроконечные пальцы Ингрид порхают над моим коленом.

Я сжимаюсь от смущения. Мне бы в голову не пришло заводить разговор о своих жизненных целях. С какой стати я должна делиться с Мэтью?

Он со смехом щелкает пальцами.

— Тебе требуется бегущая строка, Софи! По такому принципу действует Джульетта Гомес, верно? Она дает подсказки клиентам, чтобы подхлестнуть их память.

Встав со своего места, я перепрыгиваю через низкий каменный парапет, отделяющий их сад от пляжа. Это один из положительных моментов моей жизни в Испании: я научилась перепрыги-

вать через препятствия.

До чего же мне одиноко.

Иду по песку; продолжается отлив. Какая-то женщина скачет верхом на лошади по раскаленному песку пляжа. Лошадь статная, андалузской породы. Грива что пламя, копыта что гром, море сверкает. Наездница одета в синие бархатные шорты и коричневые сапожки для верховой езды; у нее с собой гигантский лук и стрела. Длинные волосы заплетены в косу, руки мускулистые, дает лошади шенкеля. Слышу женское дыхание, когда выпущенная стрела вонзается мне в сердце. Я ранена. Ранена желанием и уже готова к мукам любви.

Четверо парней играют на пляже в волейбол через сетку. Когда мяч летит в мою сторону, я высоко подпрыгиваю и отбиваю его обратно. Парни мне аплодируют и машут.

Один из этих парней — Хуан.

Ингрид и Хуан. В нем — мужское начало, в ней — женское, но, как в терпких духах, эти ноты врезаются одна в другую и смешиваются.

У девушки-гречанки английский выговор, а волосы черные, как хлеб, который мой отец ест с соленым салом и горчицей. По утрам она не выбрасывает арбузные корки, а сохраняет их для кур, живущих во дворе у кладбища на краю деревни. Каждое утро она складывает корки в полиэтиленовую сумку и относит сеньоре Беделью, которая держит этих кур. Широкополая шляпа-сомбреро отбрасывает тень на плечи. Воспаления от укусов медузы поживают.

Живые цитаты

В кабинете царила странная атмосфера. Гомес всем своим видом выказывал раздражение. Он закатал рукава; тревожная белая дорожка волос увлажнилась от пота.

— Я не вполне уверен в истолковании результатов этой последней рентгеноскопии. Несомненно то, что у вас. Роза, снижается плотность костной ткани, но у женщин за пятьдесят это распространенное явление. — Он со вздохом сложил руки поперек тонких полосок костюма. — Кость — очень интересный феномен. Она состоит из коллагена и минералов. Это живая ткань. После сорока пяти лет все наши кости становятся менее плотными и менее прочными. Но при этом у вас не наблюдается значительной потери костного материала. Предлагаю вам прогуляться до дома пешком.

Единственный серебристый волос у мамы на подбородке встал дыбом.

— Миссис Папастергиадис, если вы хотите продолжать лечение, вам придется отказаться от лекарственных препаратов. Целиком и пол-

ностью. Прекратите принимать таблетки. От холестерина, от бессонницы, от учащенного сердцебиения, от несварения желудка, от мигрени, от ломоты в спине, болеутоляющие, регулирующие давление. Абсолютно все.

К моему изумлению. Роза посмотрела на него в упор и согласилась.

— Я готова начать с вами работать, мистер Гомес.

Судя по всему, Гомес тоже ей не поверил. Он захлопал в ладоши.

— Но у меня есть хорошая новость! Моя истинная любовь беременна!

До меня не сразу дошло, о чем речь, но потом я поняла: о белой кошке. Подойдя ко мне, он согнул локоть. Это было приглашение взять его под руку. Кость к кости, со всеми плотностями и полостями, покрытыми кожей и одеждой, он вывел меня из кабинета, как невесту, по мраморному полу в направлении небольшой ниши у колонн.

В тени стояла картонная коробка. Внутри, на подстилке из овчины, возлежала Джодо. При виде Гомеса она сузила глаза и принялась вылизывать свои молочные лапки. Опустившись на колени, он чесал ее под подбородком до тех пор, пока громкое урчанье Джодо не заглушило все

другие звуки под мраморным куполом клиники. Я впервые заметила, какие там низкие потолки. В архитектурном смысле это здание напоминало палатку, натянутую в выжженной пустыне.

— Ветеринар говорит, у нее срок — шесть недель; осталось еще три недели. — Он указал на ее живот. — Видите, какое брюшко? На самом деле, я отдал ей коврик из овчины просто от избытка чувств. С ним придется расстаться. Подстилка должна быть нейтральной, потому что мама и котятки узнают друг друга по запаху.

Куда больше, чем моя мама, его интересовала эта его белая любимица. Уж не белая ли дорожка у него в волосах усиливала их близость? Я отказалась преклонить колени рядом с ним, чтобы вместе молиться на толстую белую Джодо.

— У вас шевелятся губы, София-Ирина, — сказал он. — Как будто язык во рту варится на медленном огне.

Я ждала от него уверений, что отказ от медикаментозного лечения не принесет вреда моей матери, но спросить самой не хватило дерзости.

— Вы работаете в области антропологии. Назовите три слова, которые приходят вам в голову в связи с полученным образованием.

— «Архаичный». «Остаточный». «Довсходо-

вый».

— Мощные слова. Доведись мне над ними крепко задуматься, я бы, наверное, смог от них забеременеть.

Я вздернула бровь, копируя недоуменное выражение лица Ингрид.

— И еще одно. Как я понимаю, вы управляете автомобилем, взятым напрокат на имя вашей матери.

— Да.

— Полагаю, у вас есть водительские права?

В правом кармане брюк Гомеса что-то пикало, но он словно бы не замечал.

— У вас вошло в привычку давать матери таблетки. И сейчас получается, что вам в некотором смысле тоже придется отказаться от таблеток, верно? Вы используете свою мать как шит, чтобы укрываться от необходимости строить собственную жизнь. Медикаментозное лечение — это ритуал, который я отнял у вас обеих. А теперь внимание! Вам придется изобрести новый.

Темно-синие круги, что пролегли под голубыми очами, напоминали оберег от сглаза, с которым не расставался мой отец.

— София-Ирина, послушайте, как звучит мой пейджер! Я полюбил его еще в бытность свою

врачом-стажером. Мне поступают только экстренные вызовы. Но я знаю: дни его сочтены. Сестра Солнце требует, чтобы я заменил его другим гаджетом.

Он обводил пальцами вздутый кошачий живот, покрытый белой шерсткой, а пейджер так и пикал в кармане брюк. Через некоторое время Гомес все же вынул его из кармана и взглянул на дисплей.

— Так я и знал. Инфаркт в Вера, к юго-востоку от Уэркаля. Там нет ни деревца, в отличие от Таберно, известного густыми апельсиновыми рощами. Но я не могу принять этот вызов, поскольку я не кардиолог. — Выключив пейджер, он вернул его в карман.

Обнаженная, она стоит у себя в спальне. Груди полные, упругие. Теперь она прыгает. Прыгает, разведя руки в стороны самолетиком. Подмышки не бриты. Что она делает? Раз за разом выполняет прыжок «звезда»: ноги в стороны, руки вверх. Шесть-семь-восемь. Соски у нее темнее кожи. Увидела меня в зеркале на стене. Глазами стрельнула влево,

рот накрыла рукой. У нее нет никого, кто велел бы ей задернуть шторы.

Художница

Джульетта Гомес объяснила, как добраться до ее мастерской. В Карбонерасе есть сквер, оттуда совсем близко, так что машину она посоветовала оставить в переулке, а дальше пройти пешком. Теперь я не вылезала из «берлинго». Он оказался легким в управлении, только с трудом переключался на нейтралку, но у меня в жизни бывали проблемы и посерьезней. Больше всего я боялась полиции — документов-то у меня не было. Это еще одна черта, роднившая меня с мексиканцами, которых кинул Пабло, а также с иммигрантами, работающими в пекле теплиц на фермах среди пустыни.

— Ваши документы?

— Угу.

И, по примеру антропологов, которые в прежние времена работали в колониальных странах, суну *guardia civil trafico* тринадцать стеклянных бусин и три перламутровые речные раковины. Если этого не хватит, добавлю упаковку рыболовных крючков из Боливии, а если и этого покажется мало, предложу два яйца из-под ку-

рочек сеньоры Беделью — пусть положит себе в тот карман, где револьвер. Ну, не знаю я, что буду делать. Задним ходом втиснулась между каким-то автомобилем и тремя мусорными бачками; сбила все три.

В сквере, на деревянном помосте, окруженном чахлыми лимонными деревцами, проходит урок танцев для двенадцати девочек в ярких платьях фламенко и соответствующих танцевальных туфельках. Волосы у каждой юной танцовщицы были стянуты в тугую, строгую кичку. Я понаблюдала, как девочки щелкают пальцами и притопывают каблучками. Улыбаться им не полагалось, но некоторые не могли удержаться. Всем было лет по девять. Обзаведутся ли они, в отличие от меня, водительскими документами, да и всеми прочими документами, необходимыми для функционирования на Земле? Научатся ли бегло говорить на разных языках, заведут ли себе возлюбленных — будь то женского или мужского пола, выживут ли в меняющемся климате после землетрясений, наводнений и засух, будут ли опускать монету в прорезь тележки, чтобы у стеллажей супермаркета затовариваться помидорами и кабачками, выращенными в пекле с использованием рабского труда?

Пурпурная бугенвиллея пышно цвела над стеной промышленного здания, которое и оказалось мастерской Джульетты Гомес. Это строение было последним в ряду из трех однотипных складских корпусов на мощенной булыжником улице. Я нажала на кнопку именного звонка.

Джульетта отворила металлическую дверь и провела меня в пустой зал, пропахший масляной краской и скипидаром. Сегодня она надела джинсы с футболкой и кроссовки, но при этом веки у нее были подведены идеальными стрелками, а ногти покрыты густо-красным лаком. На цементном полу к голым кирпичным стенам прислонились шесть картин и несколько чистых полотен. Вся обстановка ограничивалась кожаным диваном, тремя деревянными стульями и холодильником; тех вещиц, к которым я приценивалась на базаре, чтобы купить для дома, не было и в помине. Ни даже мыше-, крысо-, моле- или мухоловки. На столе остались бокалы, чашки, две хлебные доски. Полки ломились от книг.

Джульетта сказала мне, как произносится ее имя:

— Хулиэта.

Ее полная фамилия — Гомес Пэнья. А почему отец зовет ее сестра Солнце — после смерти мате-

ри она, еще школьница, перестала улыбаться.

— Это, между прочим, помогает, да и пациенты приободряются.

Она достала мне из холодильника пиво, а потом и себе тоже.

Я сказала, что у меня часто возникает желание сменить фамилию, поскольку никто не может ее произнести. Не проходит и дня, чтобы кто-нибудь не переспросил: «Папа» — а дальше как?

— Но ты же не сменила фамилию: значит, она тебе чем-то интересна? — Поднеся к губам пиво, Джульетта сделала изрядный глоток. — Вот чем я занимаюсь в свободное время.

Имеется в виду, что в свободное время она глушит пиво?

Отойдя к стене, она повернула холст; на другой стороне обнаружилась картина. Это был портрет молодой женщины в традиционном испанском черном платье. Жуткие круглые глаза навыкате. Масляные глаза, как мухи, только больше, размером с монету в два евро. У подбородка держит веер и немного смахивает на Джульетту.

— Это я с глазами хамелеона. — Живая Джульетта рассмеялась от моего ужаса, замаскированного долгой паузой. — Хамелеонами не рождаются, ими становятся.

Мне подумалось: уж не под хмельком ли она?

— Ты любишь животных? — Я заговорила, как полная идиотка, но так и не нашла что сказать про ее кошмарные глаза.

— Да. Мне нравится, когда в доме есть животные. И моему отцу тоже.

Джульетта рассказала, что в детстве у нее был кокер-спаниель, но в этой области Испании спаниелей часто воруют. Ночью соседи видели, как подъехал пикап «тойота», а наутро обнаружилась пропажа собаки. Мать Джульетты была инженером. Она разработала внутриматериковую водопроводную систему, позволявшую снабжать пустыни Андалусии речной водой из более плодородных областей. А погибла ее мать в авиакатастрофе: вертолет, на котором она летела, разбился в горах Сьерра-Невады, и отцу пришлось ехать на опознание в Гранаду. Это была вторая потеря в жизни Джульетты, и порой у нее путались сны: ей грезилось, что пикап «тойота» похитил ее маму.

Я спросила, где Джульетта научилась методике опроса, которую использовала при составлении, как она выражалась, «истории болезней» моей матери.

— А, я веду все архивы клиники, потому что хо-

рошо знаю английский. — Она покрутила носком кроссовки по цементному полу, как будто нашла непогашенный окурок.

Опустив глаза, я увидела, что она раздавила таракана.

— А почему история болезни называется физиотерапией? — После знакомства с ее автопортретом я присматривалась к ней испытующе.

Не выпуская из рук бутылку пива, Джульетта уселась на растрескавшийся кожаный диван и закинула ногу на ногу.

— Присаживайся.

Она указала на деревянный стул — один из трех, придвинутых к столу. Я переставила его поближе к дивану и села. В залитой светом студии было прохладно. Мне нравилось сидеть там с ней вдвоем, пить пиво и болтать. Впервые за долгое время я ощутила такое спокойствие. Спокойствие птицы, отдавшейся на волю морских волн и течений. Я не стеснялась себя, а это, наверное, значило, что она не считает меня странной, поэтому я не видела причин подражать тем, кто менее странен, и была избавлена от необходимости играть в хамелеона.

Быть может, я и сама захмелела.

Потягивая пиво, Джульетта спросила, нравится

ли мне этот сорт. Сама она предпочитала «Эстрелу», а это был «Сан-Мигель».

Да, мне он пришелся по вкусу.

— Физиотерапия — основное лечение, применяемое в нашей клинике. У отца разработаны собственные процедуры и методики. В то же время он, конечно, ищет диагностические показатели в симптомах твоей матери. Измерил электрическую активность мышц и мозга, но не нашел ничего такого, что внушает опасения. Он считает, что не мог проглядеть скрытые органические поражения или сосудистые заболевания.

— Это понятно, но я спросила насчет истории болезней, — сказала я.

— Ее паралич, София, не стоит принимать за физическую слабость.

— Для того мы и приехали в Испанию — чтобы выяснить, есть ли у нее какие-нибудь физические проблемы. — Я набиралась дерзости.

Она подняла на меня взгляд и заулыбалась. Я тоже.

Быть может, мы копировали друг дружку, играя в хамелеона?

Вот только ее ослепительно-белые зубы по большей части оказались фарфоровыми. Они были безупречны. Не понимаю, отчего в без-

упречности всегда есть что-то жутковатое, но это так. Порой мне случается размышлять о винирах. Вдруг с таких коронок отвалятся фарфоровые покровные фасетки — и тогда обнажатся подпиленные заостренные пеньки, зубы чудовища?

Откинувшись на спинку дивана, Джульетта разглядывала черное пятно, оставшееся на носке кроссовки.

— Архивирование — самая интересная часть моей работы. Я терпеть не могла естественные науки, но по настоянию отца поехала стажироваться в Барселону. Что ни день — тоска смертная. Меня чуть не заставили специализироваться на послеоперационных кровотечениях. Кошмар!

— А почему ты не пошла в художественное училище?

— У меня таланта нет. Но это я предложила построить клинику из мрамора в память о бледной коже моей покойной матери.

Мы были своего рода близнецами. Одна — без матери, другая — без отца.

Классно было поболтать с Джульеттой у нее в студии. По ее рассказам, прежде она жила в другом месте, но с началом экономического кризиса получила возможность приобрести долю в здании бывшей консервной фабрики. Мне стала

открываться впечатляющая натура Джульетты. При первой встрече она показалась мне просто расфуфыренной модницей, отчего я усомнилась в ее квалификации. Но какой я ожидала увидеть медсестру или физиотерапевта? Ее трения с отцом примиряли меня с действительностью, поскольку у меня самой тоже были трения с отцом; а кроме того, она заинтересовалась моей недописанной диссертацией. Я невольно обрисовала ей основные задачи изучения культурной памяти. Рассказала, как мучилась угрызениями совести, когда дела у меня шли в гору, как будто от этого мамины дела шли все хуже и хуже.

— Роза первой скажет тебе, что угрызения совести крайне разрушительны.

Джульетта указала пальцем на потолок. Паук, который сплел там затейливую паутину, только что поймал в свои шелковистые сети осу.

Попивая пиво, я призналась, как тяжело мне стало возвращаться к маме в наш испанский пляжный домик после того, как ей отменили медикаментозное лечение, но деваться некуда. Я всю жизнь живу не в своем доме.

Рассказывала я долго.

Паучиха не сдвинулась с места; оса тоже.

Я потеряла счет времени.

Теперь Джульетта Гомес превратилась в хранительницу тайн, отчасти моих собственных, отчасти маминых — детских. Если кости Розы были предметом медицинского исследования, то скелеты в шкафу были предметами совсем иного рода. Все, что передалось от поколения к поколению, отложилось теперь в аудиоархиве Джульетты. Я повторила свой вопрос: почему она называет этот процесс физиотерапией? Не потому ли, что мамины воспоминания засели в костях и мышцах?

— Ну, София, ты больше моего в этом понимаешь, потому как пишешь диссертацию о культурной памяти.

Мы проговорили больше часа, и мне уже стало казаться, что в студии есть звукозаписывающее устройство. Я задергалась. Слишком много я выболтала, но и она после трех бутылок пива выболтала кое-что о себе. И все равно я теперь видела в ней пример для подражания (хотя мне не подняться до одежды такого покроя, до дизайнерской обуви и до столь решительного потребления пива), и не в последнюю очередь благодаря ее методике опроса. Всю оставшуюся часть нашей беседы она молчала, но не пассивно. Я уже задумалась о своей собственной методике опроса, но тут

с улицы донесся рык мотоциклетного двигателя. У меня был один совершенно особый информант, который потерял всякую ориентацию, когда я его перебила, не дав договорить. Дело кончилось тем, что он просто ушел. А сейчас кто-то кричал сквозь щель почтового ящика мастерской. Дверь толкнули, металл заскреб по бетонному полу, а потом дверь с лязгом захлопнули.

С бутылкой вина в студии возник Мэтью. Завидев меня, сидящую на стуле, он дернулся, как от удара вилкой в щеку. И попытался вернуть своему лицу нейтральное выражение. Но не особенно преуспел; я тоже не особенно преуспела с нейтралью «берлинго».

— Ой, привет, Софи. — Мэтью скользнул взглядом по сидящей на диване Джульетте, а потом склонил голову набок, и волосы упали ему на глаза. — Вот, завез медсестре твоей матери бутылочку вина из своего погреба.

Разжав губы, Джульетта сверкнула ослепительными зубами.

— Нет, Мэтью, так нельзя. Никогда не врывайся без стука. У входа есть звонок с моим именем. — Она перевела взгляд на меня. — Мэтью решил, что может врываться, когда я работаю, — сказала она. — Почему-то он решил, что может кричать о

чем угодно сквозь щель почтового ящика и вести себя, как пожелает. Так что сейчас мне нужно остаться с ним наедине и преподать ему урок хороших манер.

Все внимание Мэтью было поглощено раздавленным на полу тараканом.

— Ишь, проныра.

Встав с дивана, Джульетта ткнула красными ногтями в сторону гостя.

— Ну, ты готов стать моим пациентом или просто заскочил с бутылкой вина? Нет ничего удивительного в том, что человек желает соблазнить свою физиотерапевтическую медсестру, но помечать этим желанием место работы ее отца, как кот помечает место мочой, — это безумство.

Мне стало интересно: сказала ли она «безумство» просто в подражание Мэтью или действительно так считает? Когда он раскинул руки, в нем появилась некая исступленность, как у пророка местного значения.

— Да, верно. — Мэтью откинул с глаз волосы и указал большим пальцем в мою сторону. — Джульетта держит меня за кота. В клинике Гомеса все тащатся от животных.

Я шла к машине через сквер, где девочки разучивали движения фламенко. Младших сменили

старшеклассницы. Я прислонилась к лимонному дереву, чтобы понаблюдать за их танцем. Теперь здесь репетировали девушки лет шестнадцати; в своих пламенеющих нарядах они выстроились в шеренгу. При звуках музыки ни одна не сошла с места, но все прогнулись и вскинули руки. Это был танец соблазна и душевных мук.

Воительница Ингрид

Мы стали любовницами. Ингрид обнажена. По плечам рассыпаны густые белокурые волосы. На лице мелкие капельки пота. Запястья обвиты золотыми браслетами. Под потолком шумно вращаются лопасти вентилятора. Мыв подсобке кортихо, загородной виллы с конюшнями недалеко от Сан-Хосе, в самом центре природного парка Кабо де Гата. Три индийские швейные машинки Ингрид выстроились в шеренгу на длинном портновском столе, рядом с рулонами ткани и готовой одеждой, которой она придает товарный вид для продажи в Европе и Азии. В душевую ведет арочный проем, словно колоннада. Вообще это мастерская, но большую часть ее занимает кровать. Совершенно необъятная, ложе для воителей. Постельные принадлежности — из мягкой, но плотной хлопковой ткани; по словам Ингрид, привезены ею из Берлина; не просто белые, а без намека на желтизну.

Мраморный камин вычищен, но рядом стоит корзина со щепой. На толстой сухой колоде балансирует топорик. Зимой, чтобы развести

огонь, кто-нибудь расколет это полено, разрывая годовые кольца, но сейчас за окном плюс сорок.

Мне нравится:

— как Ингрид снимает свой пояс с богатой вышивкой;

— что она любит свое тело;

— что ступни ее покрыты красной пылью;

— камешек в сережке для пупка, похожего на озерцо; как моя голова лежит рядом с ним; что настоящее загадочнее прошлого; как она, точно листок на ветру, меняет положение.

Из зарешеченного окна виднеется высокая опунция с шестью зелеными ладонями ветвей, усыпанных колючими грушевидными плодами. На ум приходит день, когда я с лестницы машу рукой кому-то невидимому, но воспоминание тут же улетучивается, ведь впереди — очередное путешествие, возможно, в другую страну, где властвует Ингрид с длинным, как автомагистраль, упругим телом.

Мне нравится:

— ее сила;

— что она любит мое тело;

— вино, которое Ингрид стащила из лабиринтов погреба своего бойфренда;

— что ее сила меня пугает, но страшно мне не

только из-за этого;

— инжирный кекс на прикроватном столике;

— как она произносит мое имя на английском.

Изгибы тела Ингрид очень женственны, но иногда она говорит как Мэтью. Например: «Комната просто безумных размеров» или «Дровишки из кедра — безумный запах, правда?», и потом эта странная фразочка «уход от основной задачи».

Я спросила, как это понимать; ответ меня озадачил: военный термин. Будто Ингрид сражается на поле боя, но внезапно вынуждена отступить от главной миссии. Тут снова в голову пришла Маргарет Мид со своими многочисленными мужьями и не только; вспомнилось, что, кроме мужей, была у нее еще и любовница, тоже антрополог. Наверное, именно об этом я думала, когда выводила на стене цитату.

Чтобы исследовать вопрос сексуальности, совсем не обязательно ехать на Самоа или на Таити, как поступила Маргарет Мид. Единственный человек, знакомый мне с раннего детства, — это я сама, а моя сексуальность для меня — загадка. Тело Ингрид — оголенный провод. Она прикрывает мне рот рукой, хотя у самой губы тоже разомкнуты. Лицо ее я видела и до нашего знакомства: один раз в отеле «Лорка», а потом еще в зеркале,

когда выдался тягучий день. Ингрид выгибает спину, и мы меняем положение.

Встреча с Ингрид была предопределена, хотя и не запланирована. Некоторые вещи закономерны: например, еще до падения ясно, что будет синяк.

Немного погодя мы пошли в душевую, полностью облицованную каменной плиткой халцедонового цвета. Из душа тропическим ливнем хлестала вода, но до того холодная, что невозможно было не вздрогнуть, когда она падала на грудь.

Выйдя из душа, мы обе почувствовали что-то не то. Опасность. Незримую угрозу. Ничто не нарушало тишину, но пушок у нас на руках встал дыбом. И тут мы увидели, как из корзины с растопкой выползает она. Голубой вспышкой молнии она метнулась по каменным плитам в дальний угол, к окну.

— Змея.

Голос Ингрид, вроде бы спокойный, звучал чуть выше обычного. Вокруг торса было обмотано белое полотенце, с волос падали капли. Она повторила на испанском:

— *Serpiente.*

Подойдя к полену, Ингрид выдернула топорик.

Змея лежала неподвижно, свернувшись у самой стены. Ингрид держала топорик, словно клюшку для гольфа, и, оставляя на полу влажные следы, начала медленно подкрадываться. С небольшим замахом она обрушила лезвие на змею, целясь в голову. Отсеченное тело свернулось кольцом, и обе части начали извиваться по отдельности.

Меня трясло, но ни закричать, ни обнаружить перед Ингрид свой страх я не могла. Тем же топориком она перевернула змею. Подбрюшье оказалось белым. Змеиные судороги не прекращались. Не выпуская из рук топорика, Ингрид обернулась (торс прикрыт полотенцем, словно тогой; на тренированных плечах бугорки мышц — результат занятий боксом) и бросила по-немецки:

— *Eine Schlange.*

Я попросила ее отойти, но она, наоборот, подзывала меня к себе. Ее пальцы, способные вдеть нитку в самое крошечное игольное ушко, все еще сжимали топор, а мне было страшно — страшно с первого дня нашей встречи.

А вдруг змея не мертва, пусть даже ее разрубленное надвое тело и валяется на полу? Схватив бутылку вина, стянутого у Мэтью, я хлебнула прямо из горлышка, от чего губы окрасились бор-

довым, а язык защипало. Вкус был как у толченых слив с лавровым листом; я подошла и поцеловала Ингрид. Левой рукой обхватила ее за талию, а правой вытащила у нее из пальцев топорик.

Мы стали одеваться, будто рядом не корчилась убитая змея; надели платья, кольца, серьги, причесались и вышли на улицу, оставив позади влажные от пота мягкие белые простыни, швейные машинки и ткани, толстые стены и деревянные стропила, инжирный кекс, бутылку ароматного вина, разрубленную надвое голубую змею, влажные следы на полу и подтекающий душ.

Подойдя к машине, я заметила прислонившегося к дверям парня в узких бежевых бриджах наездника. Небольшого роста, смуглый. Ингрид сказала, что это Леонардо, учитель верховой езды, который и сдал ей кортихо. Леонардо курил и смотрел на Ингрид, а затем перевел взгляд в мою сторону.

Волосы лезли мне в глаза; я убрала их с лица. Он будто сообщал нечто своим взглядом, как ловкий наркодилер в баре, где вечно переходят из рук в руки пачки засаленных банкнот. От Леонардо явно исходила угроза.

Взглядом он говорил, что посмотреть тут не на

что и надо бы поставить меня на место, припугнуть, а на это вполне способны его глаза, аватары мозга.

Леонардо лишал меня силы.

Мне предстояло отразить этот взгляд, парировать разум, отсечь Леонардо голову собственным взором, точь-в-точь как Ингрид отрубила голову змее, поэтому я вперилась прямо ему в глаза.

Он застыл; сигарета, зажатая между большим и указательным пальцами, зависла в воздухе.

А Ингрид вдруг подбежала к нему и поцеловала в губы. Тут Леонардо очнулся. Он хлопнул ладонью по ее ладони, будто в знак приветствия, а Ингрид атлетически потянулась к нему; все это время она держала другую его руку в своей.

Можно было подумать, она затевает предательство: да, мол, хоть я и с ней, но я не такая, как она, я с тобой.

Они заговорили по-испански; рядом, в конюшне, били подковами лошади.

Уж не знаю, чего Ингрид от меня хочет. Жизни моей не позавидуешь. Мне и самой такая жизнь ни к чему. И все же при всей унизительности моего положения, при полном отсутствии романтического ореола (больная мать, бесперспективная работа), Ингрид хочет быть со мной,

ищет моего внимания.

Она рассказывала Леонардо, как разделалась со змеей. Он вонзил пальцы с обкусанными ногтями в ее правый бицепс, словно говоря: *«Ух ты, ну и силища — змею своими руками укокошила!»*

Коричневые кожаные сапоги для верховой езды доходили ему до колен.

Ингрид они приводили в восторг.

— Леонардо обещает подарить мне свои сапоги.

— Да, — подтвердил он. — Будешь в них гарцевать на моем лучшем андалузце. Его зовут Рей, он ведь лошадиный король, и грива шикарная, как у тебя.

Привалившись к Леонардо, Ингрид со смехом заплетала косу.

Я повернулась в его сторону и спокойно выговорила:

— Когда она оседлает андалузца, в руках у нее будут лук и стрелы.

Ингрид махнула кончиком косы по тыльной стороне ладони.

— Да неужели, Зоффи? В кого же я буду стрелять?

— В меня. Стрела твоего желания вонзится мне в сердце. На самом деле это уже произошло.

На миг она оцепенела, потом обеими руками зажала мне рот.

— Зоффи наполовину гречанка, — сообщила она Леонардо, будто этим все объяснялось.

Леонардо дружески ткнул ее в бок. Сказал, что при случае занесет ей сапоги и покажет, как их драить.

— *Gracias, Leonardo.* — Она раскраснелась и широко распахнула глаза. — Зоффи отвезет меня домой. Пусть учится водить.

Хромота

Три ночи я не спала. Жарища. Комары. Медузы в маслянистом море. Голые склоны. Вызволенная мною, а потом, видимо, утонувшая немецкая овчарка. Беспощадный стук в дверь пляжного домика. Я уже заперлась и не откликаюсь, разве что вчера, когда пришел Хуан. В свой выходной он предложил поехать на мопеде в Кала-Сан-Педро. Это единственный пляж с источником пресной воды. Можно полпути проехать по суше, а там его друг подбросит нас на катере. Я сказала, что мама хандрит. Я — ее ноги, ведь она полупарализована. Но мне бы со своей персоной разобраться. На меня вновь напала хромота. Не помню, куда засунула ключи от машины, не могу найти щетку для волос. Происшествие со змеей и моя потеря сил перед Леонардо постоянно сталкиваются у меня в голове со всеми другими мыслями.

Мне было страшно вынимать топорик из рук Ингрид. Но не настолько страшно, чтобы не желать узнать, что случится после.

Леонардо стал ее новым щитом.

Ко мне обращалась мама, но поскольку я не

слушала, ей пришлось повысить голос.

— Думаю, ты вновь чудесно провела день на солнышке?

Я ответила, что ничем не занималась, совершенно ничем.

— Как изумительно ничего не делать! Ничегонеделание — это настоящая роскошь. А я вот лишена всех лекарств и жду, что теперь со мной будет.

Она взглянула на «бандитские» часы у себя на запястье. Они все еще тикали. Показывали точное время. Она чего-то ждала, пока тикали часы. Отказ от всех лекарств дался ей непросто. А ожидание новых приступов боли стало заметным приключением в ее жизни. Томясь этим ожиданием, она отрывала мельчайшие кусочки белого хлебного мякиша, скатывала их в шарики и часами мусолила во рту. Эти хлебные катышки напоминали таблетки и немного ее успокаивали. Она ждала. Каждый день ждала чего-то такого, что может и не случиться вовсе. Как было не вспомнить стишок, выученный еще в первом классе:

По лестнице вверх я однажды шагал,
И вдруг, кого не было там, повстречал,

Назавтра опять не пришлось повидаться.

Когда ж перестанет он мне не являться?

— Уж не знаю, чего ты ждешь, но этого может попросту не случиться, — сказала я. — Вчера ведь ничего не произошло, и сегодня тоже.

Я спросила, не хочет ли она перекусить чем-нибудь поплотнее хлеба.

— Да нет же. Я ем только для того, чтобы не принимать лекарства на пустой желудок.

Такое заявление меня озадачило; я отвернулась и вперилась взглядом в заставку на разбитом экране ноутбука.

— Я нагоняю на тебя тоску, София. Мне и самой тоскливо. Чем сегодня будешь меня развлекать?

— Сегодня развлекать меня будешь ты, — произнесла я, определенно набираясь дерзости.

Она поджала губы, напустив на себя крайне обиженный вид.

— Ты считаешь, беспомощный человек, страдающий от боли, — это клоун?

— Да нет, я так не считаю.

На экранной заставке как в тумане проплывали незнакомые созвездия. Одно смахивало на

теленка. Найдет ли он травку в этой галактике? Если нет — будет питаться звездами.

Роза ткнула меня в плечо.

— Я сказала доктору, что у меня хроническое дегенеративное заболевание. Он признался, что почти ничего не знает о хронической боли. Говорит, что современного пациента это, наверно, удивляет… вот и я удивляюсь… за что мы вообще ему платим? Он сказал, что моя боль пока еще не поддается расшифровке. Но я-то знаю, что день ото дня боль усиливается.

— Ноги болят?

— Нет, но я их не чувствую.

— Тогда в каком месте боль усиливается день ото дня?

Она закрыла глаза. Она открыла глаза.

— Ты могла бы мне помочь. Могла бы сходить в *farmacia* и купить болеутоляющие таблетки. София. Здесь, в Испании, их отпускают без рецепта.

Когда я отказалась, мама сообщила, что я толстею. Потребовала чашку чая, йоркширского. Она скучала по Йоркширским долинам, которых не видела двадцать лет. Я принесла чай в кружке с надписью «ЭЛВИС ЖИВ». Выхватив кружку, она скуксилась, будто ей навязывали какое-то непрошеное зелье. А может, она скорбно поджимала

губы из-за надписи «ЭЛВИС ЖИВ»? Не развеселит ли ее напоминание о том, что вообще-то Элвис умер? Недовольство. Неудовольствие. Неудовлетворенность. Можно было подумать, она обитает в многоэтажке под названием «Небоскреб Недовольства». Неужели и мне туда дорога? А? Не поставила ли Роза меня на очередь? А вдруг иное место жительства окажется мне не по средствам? Надо удалить свое имя из этого списка, из очереди отчаявшихся дочерей-неудачниц, что тянется от начала времен.

Роза сидела в своем кресле. Со спины она являла собой жалкое зрелище. Сама беззащитность. Вообще говоря, истинная сущность человека открывается со спины. Забранные наверх волосы обнажили шею. Да, волосы-то редеют. На шею спадает пара завитков; плечи, несмотря на характерный для пустыни зной, укутаны жакетом; эту привычку она переняла у бабушки, подумала я, а теперь вот привезла с собой в Альмерию. Очень уж трогательно выглядел этот жакет. Моя любовь к матери — как топор. Слишком глубоко ранит.

— Ты в порядке?

Сколько себя помню, этот вопрос обычно задавала ей я. Если не вслух, то про себя: как мама — в порядке? Как самочувствие? Роза обратилась

ко мне сердито, может, даже в некотором недоумении; мне пришло в голову, что раньше она, вероятно, не задавала этот вопрос, чтобы не выслушивать ответ. Вопросы и ответы — сложный код, подобный структурам родства.

О = Отец.

М = Мать.

ОП = Одного пола.

ПП = Противоположного пола.

БС (братья / сестры) у меня отсутствуют, равно как и Д (Дети), С (Супруг) и Крестные Родители (в нашей терминологии — фиктивные родственники — на них тоже могут возлагаться конкретные обязанности).

Со мной не все в порядке. Далеко не все, причем уже давно.

Но я не призналась ей, что у меня опустились руки, что мне стыдно быть мямлей и все такое прочее; что мне хочется расширить свою жизнь, но пока не хватает дерзости урвать для себя желаемое; что мне боязно волею судеб закончить так же, как и она, — влачить жалкое существование, и как раз поэтому я ищу ответ на беседу, которую ведут ее непослушные ноги со всем миром, и вместе с тем страшусь, как бы у нее не обнаружился дефект позвоночника или какой-нибудь

серьезный недуг.

В тот вечер на юге Испании слово это, «серьезный», не шло у меня из головы. Было семь часов вечера; смеркалось, долгий солнечный день катился к закату; пристально глядя на треснувшую космологию разбитых одиноких звезд и млечных облаков, я вдруг услышала слетающую с моих же уст жалобную песнь про неверный курс и сбившийся с пути звездолет, про гермошлем и какие-то неполадки, про отсутствие связи с Землей и невозможность хоть до кого-нибудь достучаться.

Роза, как я увидела, зашаркала ступнями; левая нога, обутая в тапок, дергалась в лодыжке; непонятно, кому я все это рассказывала: то ли М, то ли О, то ли С или БС, а может, фиктивной крестной или даже Ингрид Бауэр. Из кафе на площади доносился запах жареного кальмара, а мне так не хватало Англии, тостов, чая с молоком и дождевых облаков. В те мгновения голос мой звучал совсем как в Лондоне, моем родном городе. Я вышла из комнаты. Мама стала меня окликать, снова и снова выкрикивая «София… София… София», а потом громко, но беззлобно заголосила; наверное, мне хотелось, чтобы моя мать, походившая на привидение, поднялась из

расколотых звезд китайского производства и сказала: *«Завтра будет новый день, ты обязательно приземлишься, вот увидишь».*

Пройдя на кухню, я увидела на столе вазу, стилизованную под древнегреческую, украшенную изображениями рабынь с кувшинами воды на головах. Схватив эту вазу, я швырнула ее об пол. Осколки разлетелись во все стороны, а мне из-за впрыснутого медузами яда почудилось, что я плыву.

Подняв глаза, я увидела, что мама стоит — дада, стоит — на кухне среди осколков греческой вазы. Рослая. В накинутом на плечи жакете. Всю жизнь она работала, хорошо водила машину, но в Древней Греции не была бы причислена ни к гражданам, ни к чужеземцам. В руинах, которые некогда представляли собой целую цивилизацию, видевшую в таких, как она, лишь детородный сосуд, у нее не было бы никаких прав. А я, дочь, швырнула этот сосуд на пол и разбила вдребезги. Моя мать какое-то время пыталась его склеить. Научилась готовить для отца соленый козий сыр, я же помню, я помню: нагревала молоко, добавляла йогурт, сычужный фермент, нарезала ломтями створоженный продукт и распределяла по банкам, прокладывая марлей и

заливая рассолом. Жарила для отца баранину с пряностями, о которых и слыхом не слыхивала в родном Уортере, что в графстве Йоркшир, но когда отец ушел, выяснилось, что оплачивать счета сыром и приправами невозможно — это я помню, хорошо помню, а потому ей пришлось забыть про кухню и заняться делом; помню, как она выключила духовку, надела пальто, вышла на парадное крыльцо — а там на коврике сидит волк, она его шуганула, нашла работу, губы не поджимала, ресницы не подвивала, а просиживала день за днем в библиотеке, индексируя книги, но при том не забывала ухаживать за волосами: гладко зачесывала их наверх и скрепляла одной-единственной шпилькой.

— София, да что с тобой такое?

Я принялась было ей рассказывать, но на площади взрывал хлопушки детский аниматор. Звенел детский смех; аниматор разъезжал на моноцикле и выдувал пламя. Посмотрев на осколки стилизованной греческой вазы, я решила, что это знак — пора лететь к отцу в Афины.

Без декларации

Отец встречал меня в международном аэропорту, но не один. Я прибыла туда с чемоданом, а он — с молодой женой и крошечной дочуркой. Помахав рукой, я пошла к нему; разделял нас лишь стук чемоданных колесиков о мраморный пол. Мы не виделись одиннадцать лет, но узнали друг друга без труда. Отец двинулся мне навстречу, взялся за чемодан, чмокнул меня в щеку и сказал: «С приездом!» Загорелый, абсолютно невозмутимый. Правда, волосы как-то почернели, а раньше отливали серебром; одет в тщательно отглаженную голубую рубашку с заутюженными складками вдоль воротника и рукавов.

— Привет, Кристос.

— Зови меня «папа».

Не уверена, что смогу выдавить это слово; может, нужно вначале написать его на бумаге и привыкнуть к его виду.

Направляясь туда, где ждали жена с дочкой на руках, папа расспрашивал меня о перелете. Удалось ли вздремнуть, чем кормили, где я сидела — у окна или у прохода, чисто ли в туалетах — и

тут мы подошли к его новой семье.

— Знакомься: это Александра, а это твоя сестренка Эвангелина. Имя означает «провозвестница», как ангел.

У Александры на носу поблескивали очки; черные прямые волосы были коротко подстрижены. Ничем не примечательная, зато молодая, в голубой джинсовой рубашке (фирмы Levi Strauss) с влажными пятнами от грудного молока. Лицо бледное, вид усталый. На зубах брекеты. Она посмотрела на меня сквозь очки — взгляд открытый, приветливый, слегка настороженный, но в целом дружелюбный. Я бросила взгляд на Эвангелину, чье личико обрамляла копна густых черных волос. Сестра открыла глазки. Карие, лучистые, они блестели, словно капли дождя на крыше.

Когда отец и его молодая жена обратили взор на Эвангелину, глаза их наполнились истинной любовью, которая ничем не прикрывается и ничего не стыдится.

Настоящая семья. Они выглядели настолько естественно, насколько это возможно, когда мужу шестьдесят девять, а жене двадцать девять. Хотя, если честно, эти трое смахивали на отца с дочерью и внучкой, при том, что в их семье царила

абсолютно искренняя любовь. Мой отец, Кристос Папастергиадис, теперь заботился о двух благоприобретенных женщинах. У него была другая жизнь, а я возникла из прошлой — неудавшейся — жизни. Для храбрости я скрепила волосы тремя цветочными заколками для фламенко, купленными в Испании.

Отец велел нам ждать у выхода, пока он подгонит машину, а затем проинструктировал меня на будущее. Прямо у выезда из аэропорта — остановка автобуса номер X95. Билет стоит всего пять евро, так что в следующий раз, оказавшись в Афинах, я смогу доехать на нем до площади Си́нтагма в центре города. Папа позвенел связкой ключей над головкой Эвангелины, как сделал бы любящий дед, и скрылся за стеклянными дверьми.

Я предложила Александре кофе со льдом, который собиралась заказать у стойки. Она отказалась, объяснив, что кофеин попадет в грудное молоко, отчего ребенок может перевозбудиться. Из-за улыбки, обнажавшей брекеты, выглядела она гораздо моложе меня. Интересно, рожала она тоже в брекетах? Александра стала спрашивать, чем я зарабатываю на жизнь, и я (потягивая через соломинку фраппучино) ответила, что пока не нашла применения магистерской степени по

антропологии.

— Ты непременно должна посетить Парфенон. Знаешь, это величайший из сохранившихся памятников Древней Греции.

Конечно, знаю.

Поскольку ответила я про себя, она сделала новый заход.

— Парфенон, — повторила Александра.

— Да-да, я о нем слышала.

— Парфенон, — снова произнесла Александра.

— Да, это храм.

На ногах у нее красовались серые фетровые тапки с белыми пушистыми облачками на носках. На каждом по два глаза, которые закатывались при ходьбе. Есть ли у облаков глаза? Иногда грозовые тучи изображаются в виде лиц с надутыми щеками (намек на ветер), но чтобы с выпученными глазами — не припоминаю. Наверное, это не облака и не тучи. А овечки.

Заметив, что я уставилась на тапки, Александра засмеялась.

— Такие удобные. Стоили всего шестьдесят с чем-то евро. Вообще это домашние тапки, но подошва резиновая, так что ношу их и как уличные.

Девочка-жена моего отца носит брекеты и тап-

ки с мордашками животных. Я пригляделась к ней на предмет серег в виде божьих коровок или колечка со смайликом, но заметила лишь две родинки на шее и одну над губой. Мне пришло в голову, что моя мама не так уж проста. За ширмой болезни скрывалась эффектная женщина с хорошим вкусом.

Подъехала машина. Папа помог Александре с Эвангелиной устроиться на заднем сиденье. Слово «папа» было несколько раз произнесено и вслух, и про себя; мне понравилось, как оно звучит. Он повозился с ремнем безопасности, пристегивая Александру, державшую на руках малышку. Разложив у нее на коленях белую пеленку, отец по-английски предложил жене в дороге поспать. Затем жестом пригласил меня сесть спереди. Чемодан лежал в багажнике; отец вез нас по шоссе в сторону Афин, то и дело проверяя в зеркале заднего вида, как там жена с дочкой, и улыбался Александре, словно заверяя, что вот он, тут, никуда не делся.

— Где ты теперь живешь, София?

Я рассказала, что в будни ночую в подсобке кофейни, а на выходные перебираюсь к Розе.

— Хорошо отдыхается в Испании? Днем прикорнуть удается?

Он то и дело говорил «вздремнуть», «прикорнуть», «отдыхать». Пришлось объяснить, что я недосыпаю. По ночам все чаще думаю о недописанной диссертации, а днем у меня куча дел, в основном связанных с маминой болезнью. Похвасталась, что научилась водить машину. Отец поздравил; пришлось уточнить, что прав у меня пока нет, но по возвращении в Лондон первым делом займусь этим вопросом. Услышав, что Эвангелина стала задыхаться, он обратился к Александре на греческом, та ответила, а я не поняла ни слова. Папа объяснил, что из-за «кризиса» не хватает лекарств, и они беспокоятся о здоровье Эвангелины. Немного погодя Александра спросила, почему я не говорю по-гречески. За меня ответил отец.

— У Софии с языками так себе. Да и в греческую школу по средам и субботам ее не водили, поскольку мать считала, что и в английской школе она перекормлена.

На самом-то деле в английской школе вообще не кормили. Я приносила из дома термос с супом; иногда этим супом оказывалась греческая чечевичная похлебка.

— Александра свободно болтает по-итальянски. Она скорее итальянка, чем гречанка.

Отец дважды посигналил.

Сзади прорезался детский шепоток: *«Si, parlo Italiano»*; я вздрогнула, и отец резко дернул руль.

Обернувшись, я увидела, что Александра хихикает и зажимает рот ладонью.

— Значит, ты родилась в Италии?

Уж не знаю почему, но в моем голосе зазвучало раздражение. Возможно, из-за нее я ощущала себя чужой в этом семейном автомобиле, пропахшем рвотой и грудным молоком.

— Трудно сказать. — Александра покачала головой, будто хотела сохранить тайну.

За национальную принадлежность поручиться трудно.

Вынув из волос цветы на заколках, я распустила по спине свои спутанные кудри. Губы опять растрескались. Как и экономика европейских стран. Как и финансовые учреждения по всему миру.

В тот вечер, укладывая Эвангелину, папа пел ей на греческом. У сестренки не будет проблем с усвоением отцовского языка. Она выучит и древнегреческий, и современный алфавит из двадцати четырех букв, от альфы до омеги.



Но первым языком, который она усвоит, будет язык истинной любви. Эвангелина рано научится выговаривать «папа» и будет произносить это слово вполне осознанно. Мне лучше дается язык симптомов и побочных эффектов, ведь это язык моей матери. Наверное, мой родной язык.

Их квартира в зеленом районе Колонаки увешана окантованными постерами с изображением Дональда Дака. Наружные стены дома испещрены граффити со словами «OXI OXI OXI». Александра объяснила, что «οχι» по-гречески означает «нет». Я ответила, что это мне известно,

но зачем столько уток? Видимо, это были цифровые изображения на фанере, выписанные по почте уже с крючками, как для картин, чтобы оставалось только развесить. Александра сказала, что эти картинки поднимают ей настроение, ведь в детстве она не смотрела мультики. А потом стала указывать на Дональда в матроске, Дональда в костюме Супермена, Дональда, убегающего от крокодила, Дональда в бордовой шляпе фокусника, Дональда, прыгающего через обруч на арене цирка.

Улыбнувшись, Александра подытожила:

— Он — ребенок. Любит всякие приключения.

Интересно, Дональд Дак — ребенок, подросток с гормональным всплеском или застрявший в детстве взрослый? А может, все это вместе, как и в случае со мной? Плачет ли он? Как влияет на его настроение дождь? Когда он говорит «да», а когда — «нет»?

У мамы дома висят семь репродукций Лаури. Ей нравятся его городские пейзажи — сценки повседневной жизни промышленных районов северо-западной части Англии за стеной дождя. Мать самого Лаури была больна и удручена жизнью, днем ему приходилось за ней ухаживать, а ночью, когда та спала, он мог рисовать. Мы

никогда не обсуждали эти стороны жизни художника.

Александра просит моего отца накрыть на стол к ужину, а сама тем временем собирается показать мне гостевую спальню.

— Праздничные тарелки не ставь, — подсказывает она, но отец и сам знает.

Если бы моя мама и мать Лаури были тарелками — не праздничными, но и отнюдь не повседневными, — на донце у каждой было бы выбито место производства: «Сделано в Республике Страдания».

Тарелки стояли бы на полке как фамильные ценности, предназначенные в наследство непутевым детям.

Сестренка Эвангелина. Что достанется ей в наследство?

Судоходная компания.

— София, — окликает отец. — Я положил твои заколки с цветами на столик в спальне. Александра покажет.

Гостевая спальня — чулан без окон. Духота. Спальное место — жесткая парусиновая раскладушка. Помещение сродни моей подсобке в «Кофе-хаусе». Александра с показной осторожностью затворяет дверь, пришептывая *«тшшш»*

— мол, только бы Эвангелина не проснулась; наконец, преодолев последний скрип, она уходит на цыпочках по коридору в своих тапках с ягнятами. Я прилегла. Через двенадцать секунд поправила подушку — и тут койка грохнулась на пол, обрушив приставной столик с аккуратно разложенными алыми цветами-заколками. Проснувшись, заплакала Эвангелина. Лежа на полу со столиком поперек груди, я стала делать «велосипед», разминая ноги после перелета. Распахнулась дверь, и вошел отец.

— Нет, папа, — сказала я. — Так нельзя, без стука не входи.

— Ты не ушиблась, София?

Лежа на обломках мебели, я молча продолжила крутить «велосипед».

На столе ждали три непраздничные тарелки и кувшин воды. Отец начал с молитвы: «Да едят бедные и насыщаются», которую закончил на греческом. Потом молча сел, и Александра положила ему пасты. Она сказала, что это итальянское блюдо, приготовленное по местному рецепту, с анчоусами и изюмом. Готовила сама, поскольку любит сочетание соленого и сладкого. После молитвы отец не проронил ни слова, так что поддерживать разговор за него пришлось

Александре. Она спросила, где я остановилась в Испании, ходила ли на корриду, нравится ли мне испанская кухня, как там с погодой; но никто не упомянул беспорядки в Афинах и не справился о здоровье моей мамы. Своим незримым присутствием Роза заслоняет все остальное, как попавшая в дом слониха; даже Дональду Даку ее не прогнать. Возможно, ему удастся на ней прокатиться, запустить ей в голову камнем из рогатки, но оранжевыми перепончатыми лапами ему не вытолкать такую громадину.

Неожиданно заговорил отец:

— Я обнажил свой срам перед Господом, Он же предстал предо мною во всей благости Своей.

Папа смотрел в тарелку, но слова эти явно обращал ко мне.

Сюжет

Положение усугубилось. Оказывается, Александра — младший экономист. Это неплохо, ведь, приехав в Афины, я надеялась взыскать с отца должок за все годы, что он не показывался. Хотя, наверное, он считает, что реабилитировался, даря всю свою позднюю отцовскую любовь моей сестренке Эвангелине.

Думаю, он понимает, что кредитор из меня растерянный и убогий. Для оформления сделки надо бы собраться с мыслями, стиснуть зубы, одеться по-деловому и завести его в душную комнату, где приготовлена слепящая лампа и ожидает переводчик, но тело мое все еще гудит от жарких поцелуев и ночных ласк в жаркой пустыне. Уберись я из его жизни навек, ему было бы только легче, но по какой-то причине он хочет, чтобы я приняла Александру. Самый верный его залог. Отец ею гордится; оно и понятно. Внимательная мать, заботливая жена. Потому-то он ласков и спокоен.

Но задолжал отец давно и по-крупному. Из-за его первого нарушения долговых обязательств

мама взяла ипотеку на мою жизнь.

И вот я на родине Медузы, пометившей мое тело шрамами от яда и гнева. Сижу на огромном мягком синем диване рядом с Александрой, поправляющей блестящие брекеты. Окна закупорены, работает кондиционер. На груди у нее спит дочурка, домработница подметает полы, а сама она знай посасывает желтую засахаренную мармеладку.

Неужели меня радует ощущение своей кредиторской власти? Интересно, кредиторы счастливее должников?

Впрочем, я уже не уверена, какие теперь правила и чего хочу добиться. Все это неизвестные переменные.

Что такое деньги?

Деньги — это средство расчетов и обмена. Нефрит, быки, рис, яйца, бусины, гвозди, свиньи, янтарь — все это использовалось для оплаты или записи ссуд и долгов. Да и дети тоже. Меня променяли на Александру и Эвангелину, но я должна сделать вид, будто не заметила.

Делать вид, будто я не замечаю или забыла, получается у меня особенно хорошо. Если бы мне вдруг пришло в голову выковырять себе глаза, отец бы обрадовался, но память — как штрихкод.

Я же — человеческий сканер.

К губам Александры прилипли кристаллики сахара.

— София, ты ведь против мер жесткой экономии. Сама я консерватор, поэтому предпочитаю исцеление через реформы. Если мы хотим остаться в еврозоне, от лечения отказываться нельзя. Твой папа перевел все деньги в британский банк. Для верности.

Похоже, мне собираются прочесть лекцию, поэтому я прерываю Александру, чтобы справиться о ее профессиональной подготовке. Спрашиваю в лоб, какое у нее образование.

Оказывается, школу она заканчивала в Риме, а университет в Афинах. До встречи с отцом работала в каком-то солидном учреждении референтом бывшего главного экономиста, потом во Всемирном банке, референтом директора по экономической политике и, наконец, у вице-президента какой-то менее именитой, но тоже крупной организации.

Александра угощает меня мармеладом из стеклянной вазочки.

— Если мы не выполним обязательства и просрочим выплаты долга, кредиторы с нас три шкуры сдерут.

Она рассуждает об экономическом кризисе как о серьезной болезни — заразной и пагубной. Долговая эпидемия охватила всю Европу, и, чтобы предотвратить дальнейшее заражение, необходима вакцина. Раньше в ее обязанности входило следить за поведением и распространением этой заразы.

Слушать ее — сущее мучение, хоть я и держу во рту мармеладку.

На улице светит солнце.

В солнечном свете есть нечто сексуальное.

Оказывается, перед рождением Эвангелины Александра устроилась в некий брюссельский банк. Рабочая неделя заканчивалась в пятницу, так что она имела возможность прилетать к моему «папуле».

Вот она разворачивает мармеладку — на сей раз попалась зеленая — и сует в рот.

— София, нам всем следует очнуться от этого кошмара и перейти на лекарства.

Мне подумалось, что Гомес, наоборот, удалил все таблетки из маминого списка, но обсуждать это с новообретенной мачехой я не стала.

Александра беспокойно сверлит меня карим глазом — тем, что поменьше.

— Не один год в мои обязанности входило по-

могать министрам финансов убеждать рынки, что все под контролем, и удерживать евро на плаву. — Она гладит мою новорожденную сестренку по спине, а сама то и дело слегка высовывает окрасившийся мармеладом зеленый язык. Уж не знаю почему. Может, из-за брекетов.

Александра всего на четыре года старше меня — и уже следит, чтобы евро оставался на плаву.

На подбородке у нее два прыщика. Может, отец привирает насчет ее возраста, а Эвангелина родилась от случайной подростковой беременности? Впечатление такое, будто Александра уже год ни с кем, кроме Кристоса Папастергиадиса, не общалась.

— Напрасно ты думаешь, София, что неконтролируемый выход из еврозоны не отразится на Америке.

Вообще-то думаю я об Ингрид, о той ночи, когда она смазала мои потрескавшиеся губы медом и мне стало казаться, что меня забальзамировали. Думаю я и о том, как мы с Хуаном ночью лежали на пляже; и о том, как при покупке шести бутылок негазированной воды, *agua sin gas,* в местном магазине сети SPAR мне приспичило купить на кассе летний выпуск одного глянцевого журнала с приложенным подарком — очками Жаклин

Кеннеди. Правда, эти огромные солнцезащитные очки не были точной копией: на белой оправе автограф Джеки вывели греческими буквами, но мне все равно захотелось вырвать их из упаковки, тотчас же надеть и прогуляться среди кактусов по моему личному царству страсти в сопровождении своих возлюбленных — Ингрид и Хуана. Слово «Обесславленная», вышитое на шелковом топе, изменило мою жизнь гораздо круче, чем слово «евро». Обесславленная — это как луч прожектора, направленный в середину сцены. Мне случалось смотреть на этот освещенный круг из-за кулис, но даже в голову никогда не приходило, что в главной роли могу оказаться я сама.

Не знаю, сколько мне отмерено страсти.

У Александры левый глаз определенно меньше правого.

— Так вот, к вопросу о Соединенных Штатах, София.

Давно хочу побывать в Америке. У нас в «Кофе-хаусе» мой лучший друг — Дэн из Денвера. Приятно было ощущать его мощную ауру, когда я молола кофейные зерна и надписывала ценники для пирожных. Я скучала по тем временам, когда в кратких промежутках между приготовлением

кофе с молоком мы с ним делали «звездочки» — прыгали, растопыривая ноги и поднимая руки, — а он привычно сетовал на отсутствие медицинской страховки. В последний раз, когда мы делали «звездочки», он стал размышлять вслух, не поехать ли в Саудовскую Аравию «срубить баксов» и не стоит ли ему подсесть на прозак, дабы примириться с тем, что женщины там не имеют права садиться за руль. Вспомнив эти его слова, я впервые подумала, что он, вероятно, подбивал ко мне клинья.

Жутко хочется нашего фирменного кофе.

Подсобка «Кофе-хауса» — дворец по сравнению со спальней в Афинах. Если Дэн теперь спит на моей постели, перепачканной чернилами, значит, он, наверное, каждое утро смотрит на цитату из Маргарет Мид, написанную маркером на стене? Вполне возможно, что кофейня сама по себе — это уже полевое исследование, которое всю дорогу было у меня перед носом.

Александра, не унимаясь, разглагольствует о возможной реакции биржевых рынков на вероятность развала Европы. Потом вдруг спрашивает, скучает ли по мне мама.

— Надеюсь, что нет.

При этих словах она помрачнела.

— А по тебе мама скучает, Александра?

— Надеюсь, что да.

— У тебя в брюссельском банке отдельный кабинет?

— Да, и кроме того, там три льготные столовые, да и отпуск по уходу за ребенком оформлен на выгодных условиях.

— А ты могла бы выйти на забастовку?

— В таких случаях положено в письменной форме уведомить работодателя. Ты что, антикапиталистка?

Конечно, ей хочется, чтобы дочь мужа от первого брака была анти-все-на-свете, поэтому я не утруждаю себя ответом. Александра вместе с мужем и ребенком поднялась на океанский лайнер, а я плыву совсем в другую сторону на утлом челноке.

Она говорит, что получает пятипроцентное бюджетное пособие на семью, поскольку является основным кормильцем. А у меня даже дома своего нет, только мамин.

— Твоя мама все еще любит папу?

— Отец никогда не поступается своими интересами, — отвечаю я.

Уставилась на меня как на сумасшедшую. Потом смеется.

— А почему он должен поступаться своими интересами?

С дерева над балконом спрыгнула белка и глазеет сквозь закрытое окно. Что она видит? Не иначе как три поколения одной семьи.

Почему отец должен поступаться своими интересами? Александра произнесла эти слова с большой легкостью, но все же вопрос ее порывом ветра пронесся над синей обивкой уютного дивана. Даже белку сдуло с дерева. А я поступаюсь своими интересами? Откинувшись на спинку дивана и заложив руки за голову, вытягиваю ноги. На мне шорты и желтый шелковый топ — подарок Ингрид. Александра пытается прочесть голубую надпись, вышитую над левой грудью. Сощурив глаз, тот, что поменьше, она шевелит губами и беззвучно произносит «Обесславленная». Хмурится — как видно, не понимает его значения, но стесняется спросить перевод.

Захлопав в ладоши, она прогнала белку.

У Александры — карьера, состоятельный зрелый муж и ребенок. Полагаю, что есть брачный контракт: за ней половина роскошной квартиры в дорогом районе и доля в судоходном бизнесе отца. Она верит в какого-нибудь бога. А я что? Живу не пойми как временной жизнью, в хибаре

на краю деревни. Что мешало мне начать строительство двухэтажного коттеджа в центре?

Ни бог, ни мой отец не вписываются в сюжет моей жизни.

Я вся из себя — антисюжет.

Когда я молча проговорила эти слова, уверенности у меня поубавилось. Отец определенно вписывается в космологию моей экранной заставки. Тоже стукнутый, но еще функционирует. Плана Б по замене отца у меня нет. И тут передо мной всплывают мамины голубые глаза, маленькие и злые. Глядят из ее увечного тела. Самые яркие звезды в расколотой галактике. Она-то не раз поступалась своими интересами, поэтому я, как цепями, скована и придавлена ее жертвами. Что, если бы она тогда объявила:

«Я решила начать все сначала, София. Тебе уже пять лет, полечу-ка я в Гонконг, прощай, счастливо оставаться. Хочу попробовать еду с рыночных лотков. Первым делом отведаю, пожалуй, суп с фрикадельками из угря. Когда увидимся, расскажу тебе о своих путешествиях. Ты поживешь с бабушкой в Йоркшире, а я воспользуюсь услугами хороших больниц, смогу кое-что себе позволить, найду приличную работу. Не забывай зимой застегивать пальто, а весной собирать в

лесу подснежники».

Даже в возрасте пяти лет я была старше звезд китайского производства на экранной заставке.

Почему твой отец должен поступаться своими интересами?

Александра все еще ждет ответа. К ее груди присосалась моя младшая сестренка.

Морщась, Александра зажимает носик Эвангелины, чтобы та выпустила изо рта сосок. Объясняет, что дочурка неправильно берет грудь, отчего сосок потрескался. Отлученная от груди Эвангелина плачет; Александра, даже не пытаясь ее успокоить, принимает более удобную позу. Не так уж много в ней молока прекраснодушия, чтобы поступаться своими интересами. То же относится и к отцу. Два сапога пара и поклоняются одному и тому же богу, который приносит в их мир неведомую мне надежность.

Хорошо бы мне уверовать в какого-нибудь бога. Помню, читала я про средневековую духовную писательницу, именуемую Джулианой из Нориджа. Она писала о материнстве Бога, полагая, что Бог — это на самом деле и отец, и мать. Мысль интересная, но я даже со своими отцом и матерью толком разобраться не могу.

— Почему отец должен поступаться своими

интересами?

На сей раз я повторяю вслух ее вопрос. Он лежит в пределах серой зоны, а от серости я теряюсь и начинаю молча поддакивать и отнекиваться одновременно. Подбородок у меня дергается вниз-вверх, говоря «да», а потом влево-вправо, говоря «нет». Она улыбается, и мне приходит в голову, что стальная скобка не заканчивается у нее на зубах, а пронзает весь организм. Вот уж буквально — стальная женщина; но потом она понижает голос и скользит по мягкому синему дивану поближе ко мне.

— Когда мужчина старше, это очень непросто. Между нами сорок лет разницы, ты же знаешь.

Я-то знаю. В голове не укладывается. И все же: неужели она видит во мне задушевную подругу?

Тянусь за мармеладом и с шорохом разворачиваю фантик, чтобы заглушить ее признания.

— Шестьдесят девять — это в принципе начало дряхлости. — Высунув язык, она поправляет брекеты. — Он то и дело бегает по-маленькому, постепенно глохнет и вечно устает. С памятью просто беда. Когда мы встречали тебя в аэропорту, он забыл, где припарковался. Я буду тебе очень благодарна, если в обратную сторону ты доберешься сама, на икс девяносто пятом. Когда

мы гуляем, он за мной не поспевает. Ему требуется эндопротез тазобедренного сустава. Но он только что вставил четыре зуба. Перед тем, как подняться в спальню, он вынимает нижний мост и кладет в баночку со специальным раствором.

Тут входит мой отец.

— Привет, девочки. Как славно, что вы нашли общий язык.

Другое

На второй день в Афинах я предложила отцу прогуляться через парк — этой дорогой он ходил на работу. Мы с ним впервые остались наедине, без его жены и новорожденной дочери — живых щитов, которыми он закрывался от насупленной, невыспавшейся кредитующей стороны.

Мы оба знаем, что его самоустранение из моей жизни — неоплатный долг, но все равно приятно изображать обсуждение сделки. В этом смысле я была солидарна с граффити на стене у метро: «ЧТО ДАЛЬШЕ?».

Я ковыляла через парк в своих черных замшевых босоножках на платформе, а мой отец ковылял рядом, согнувшись под грузом вины — той небольшой ее части, которую не отпустил отцовский бог. Ковыляли молча.

К своему облегчению, мы встретили его коллегу из судоходной компании, тоже идущего на работу. Они обсудили предполагаемое повышение налогов на морские перевозки и солидный запас наличности в евро, имеющийся у каждого на случай непредвиденных расходов.

Отец волей-неволей представил меня как дочь от первого брака, артефакт из своего британского прошлого. Помимо босоножек на платформе, мой наряд составляли шорты и куцый, весь в золотых блестках топик, открывавший живот. Волосы я скрепила на макушке тремя цветками-заколками в стиле фламенко. Отец, должно быть, испытал настоящий шок, увидев, что его грудастая лондонская дочь представляет совершенно определенный интерес для коллеги.

— Меня зовут София. — Я пожала ему руку.

— Георгиос. — Он не спешил отпускать мою ладонь.

— Я здесь буквально на пару дней. — Вырываться я не спешила.

— Наверное, работа ждет? — Он выпустил мою руку.

— София временно подрабатывает официанткой, — по-гречески сообщил мой отец.

Обо мне можно сообщить и другое.

У меня диплом с отличием и магистерская степень.

Я пульсирую изменчивой ориентацией.

Я — ходячий секс на загорелых ногах, обутых в замшевые босоножки на платформе.

Горожанка, просвещенная, в данный момент

неверующая.

Во мне, с отцовской точки зрения, нет никакого приемлемого женского начала.

Точно не уверена, но сдается мне, что, по его мнению, я не делаю чести семье. Подробностей не знаю. Папа слишком долго оставался вне пределов досягаемости и не разъяснил мне мои обязательства и функции.

— У Софии в прическе — цветы фламенко. — Отец совсем приуныл. — Но родилась она в Британии, греческого не знает.

— Я папу не видела с четырнадцати лет, — уточнила я для Георгиоса.

— У ее матери ипохондрия, — доверительно, как брат, сообщил ему отец.

— Я за ней ухаживаю с пяти лет, — доверительно, как сестра, сообщила я.

Отец заговорил поверх моей головы. Понимала я далеко не все, но общий смысл сводился к тому, что репутация у меня, по его мнению, неважная. Он попросил меня не утруждаться приходом к нему в офис, сказал до свидания и исчез за вращающейся стеклянной дверью.

Весь день я бродила по музею антропологии, а затем дошла до Акрополя и там в тенечке поспала. Кажется, снилась мне древняя река, ныне

спрятанная под уличным асфальтом и современными зданиями — река Эридан, текущая на север от Акрополя. Я слышала ее стремительное течение к фонтанам, где в очередь выстроились рабыни — каждая с кувшином на голове.

Вечером Александра, дав ребенку грудь, сидела на гладком синем диване и вслух читала моему отцу роман Джейн Остен. Она упражнялась в английском, который и без того был у нее безупречен, а отец исправлял ей произношение. Александра читала «Мэнсфилд-Парк». «Если какую-то из наших способностей можно счесть поразительней остальных, я назвала бы память».

Мой отец кивнул.

— «Памммь'ать», — утрированно произнес он.

— Память, — повторила Александра.

Сунув себе в рот оранжевую мармеладку, а следом желтую, он покосился на меня. Ты только послушай, какая она умница. Умнее меня, даром что со мной связалась, но я не жалуюсь.

Совсем забыла ему сказать, что тема моей заброшенной диссертации — как раз память.

Передо мной была стабильная семья, накапливающая свежие воспоминания.

А быть может, нестабильная семья, направляе-

мая своим богом. Каждое воскресенье они ходили в церковь. «Бог — наш Господь, и Он мне открылся», — не раз повторял мне отец. Я видела, что его переполняет общение со своим богом. Когда мы все вместе шли по улицам, члены их общины целовали его дочурку. Священник носил черную рясу и солнцезащитные очки. Он по-доброму брал меня за руки. Папа совершал последний рывок к новой жизни, хотя его жена тайком сетовала на разницу в возрасте. Оставляя позади прошлое, он понимал, что ту жизнь придется вычеркнуть из памяти. И единственной помехой на этом пути оказалась я.

Рассечение

Что ни утро, мы с Александрой беседуем на мягком синем диване.

Сейчас мы лакомимся черешней, которую я купила на оставшиеся евро для своей новой семьи. Черешню выращивали еще в античную эпоху: сбор черешни на горных склонах упоминается у Овидия.

Я забрызгала соком шелковый топ, который подарила мне Ингрид для облегчения боли от ожогов медузы.

— А как это понимать, София?

— Как понимать что?

— Слово на твоем топе.

Я стала думать, как бы растолковать ей слово «обесславленная».

— Это значит «лишившаяся доброго имени», — ответила я. — Принесшая его в жертву настоящей, большой любви.

Она смущается.

— По-моему, это не совсем правильно.

Интересно знать: не считает ли она, что принести нечто в жертву большой любви — это не

совсем правильно для такой, как я?

— В этом слове сквозит какая-то неодолимая сила, — продолжает она.

— Да, оно предполагает неодолимые, сильные эмоции, — подтверждаю я. — Говоря «обесславленная», мы подразумеваем бурное прошлое.

Накануне мне опять приснилась Ингрид.

Мы с ней лежим на пляже, я кладу руку ей на грудь. И мы вместе засыпаем. Будит меня ее возглас: «СМОТРИ!» Она показывает отпечаток моей руки. Он белым узором выделяется на загорелой до черноты коже. Ингрид обещает носить этот след клешни чудовища для устрашения врагов.

Александра просит меня купить полкило фарша из баранины и отнести кухарке. Та приготовит на ужин мусаку.

— Это греческое национальное блюдо, София.

Точно не помню, но вроде бы мама раньше такое готовила.

Пошла я на мясной рынок и остановилась у прилавка с овечьими головами под лампами, болтавшимися на длинных шнурах. Овцы здесь были постарше нежных ягнят на тапках Александры. Эти животные стали жертвами кровопролития. Их печень горками лежала на убранных в холодильники серебряных подносах. С крюков

веревками свисали кишки. Убийство вершилось без всяких формальных ритуалов, способных примирить мясоедов со смертью животных. Когда первобытный человек отправлялся на охоту, это было травматическое, опасное занятие. Соседствуя с животными, он не мог спокойно слушать их крики, видеть море крови, а потому придумывал обряды и ритуалы для оправдания убийства. Женщины и дети требовали постоянного кровопролития для поддержания собственной жизни.

У меня в кармане завибрировал мобильный. Пришло сообщение из Испании, от Мэтью.

> Гомеса нужно остановить.
>
> Вчера твоей матери пришлось делать регидратацию.
>
> Этому шаману только бить в барабан.

С каких это пор Мэтью озабочен лечением моей матери?

Похоже, его барабан — это мобильник, только я не улавливаю сути. До появления мобильной связи, вертолетов и навигационных систем барабаны, используемые для передачи вестей, спасали человеческие жизни. Отстукивая сообщения на звериной коже, натянутой на деревянный обруч, люди могли противостоять голодной смерти, раз-

рушительным пожарам и вражеским набегам.

Примостившись на каком-то табурете возле овечьих голов, я позвонила Гомесу. Он заверил меня, что состояние Розы удовлетворительное. Медперсонал клиники ежедневно к ее услугам. После отмены лекарств у нее «повысился моральный дух». При этом она отказывается пить воду, отчего и произошло обезвоживание. Я объяснила, что с водой на нее не угодишь — в этом вся сложность, учитывая, какая погода стоит летом на юге Испании.

— Тем не менее, — продолжила я, наблюдая, как в пустые глазницы овечьей головы заползают мухи, — если вода все время не та, у моей матери сохраняется надежда. А если вода окажется подходящей, Роза будет вынуждена искать другой источник вечного неудовольствия.

— Возможно, — ответил Гомес. — Однако должен вам сообщить, что проблема ходьбы теперь не вызывает у меня такого клинического интереса, как проблема питья.

Время перевалило за полночь; я не могла уснуть, потому что у меня в комнате — ни окна, ни кондиционера. Я соскучилась по ржаному хлебу, по сыру чеддер и даже по осеннему туману, проплывающему над грушевым деревом в

мамином саду. Вышла на балкон: мне полезно подышать прохладным ветерком. Я теперь училась действовать себе на пользу, а потому решила взять подушку и простыню, чтобы лечь спать на свежем воздухе. Но, как видно, Александра с моим папой меня опередили. Устроились бок о бок в полосатых шезлонгах — ни дать ни взять старички на кромке пляжа. Она в ночной сорочке, он в пижаме. А я оказалась в коридоре, как в ловушке: беспокоить эту пару не хочется, а возвращаться в духоту гостевой спальни — тем более.

Деваться мне, как обычно, некуда, денег на гостиницу нет. Даже в самом дешевом клоповнике у меня была бы комнатушка с каким-нибудь окном или с примитивным кондиционером.

Прислонившись спиной к стене, я исподволь наблюдала за Кристосом, купающимся в лунном свете со своей юной женой.

Они совершали некий ритуал.

Александра предложила ему сигару из коробки, которую держала на коленях. Он взял ее двумя пальцами, и жена подалась к нему с зажигалкой. Дождалась, чтобы он попыхал и затянулся, а когда под ночным небом ровно затлел красный огонек, убрала зажигалку в коробку.

Видимо, это был акт преданности. Вдалеке на

холме светился Парфенон.

Он устремлен вверх, этот священный храм Афины, верховной богини войны. Как выглядел он в пятом веке до нашей эры, когда к нему стягивались верующие, чтобы поклониться своей богине? Сидел ли под ним в звездную полночь немолодой мужчина бок о бок с молодой женщиной или девушкой? Вкушал ли с нею вместе мясо жертвенного животного? Девочек выдавали замуж с четырнадцати лет, а их мужьям нередко было уже за тридцать. Женщины служили для полового удовлетворения мужчин, выполняли детородную функцию, занимались прядением и ткачеством, выступали плакальщицами на похоронах. По умершим родным скорбели только женщины и девушки. Когда они с причитаниями рвали на себе одежду, их пронзительные голоса сильнее воздействовали на слух. Мужчины стояли поодаль, а женщины выражали за них эмоции.

Моя проблема заключается в том, что я и хотела бы выкурить сигару, да зажечь ее для меня некому. Хочу выдыхать дым. Подобно вулкану. Подобно чудовищу. Хочу выдувать огонь. У меня нет желания быть той девушкой, чье дело — пронзительно причитать на похоронах.

Змея. Звезда. Сигара.

Это лишь некоторые из тех образов и слов, которые, по рассказам Ингрид, всплывают у нее в сознании, когда она вышивает. Я поплелась к себе в комнату и нашла на раскладушке шелковый топик. Носила я его почти не снимая. Он хранил запахи кокосового мороженого, пота и Средиземного моря. Я решила простирнуть его в ванне, а после принять холодный душ. За стенкой мурлыкала Эвангелина, и под распахнутым окном дрожали от бриза ее мягкие черные волосы.

Нагнувшись над ванной, которая наполнилась мыльной водой, я держала в руках мокрый шелк. Поднесла его к глазам. Еще ближе.

Голубое слово, вышитое на желтом фоне, я изначально прочла не так.

Не «Обесславленная».

Это я сама додумала.

«Обезглавленная».

Там читалось «Обезглавленная».

И пусть бы кто-нибудь меня обесславил, только не стоит принимать желаемое за действительное.

Я лежала навзничь на прохладном кафельном полу ванной комнаты. Ингрид — белошвейка. У нее мозг — в игле. Обезглавленная — так я ей

мыслилась, и распороть свои мысли она не сочла нужным. Заклеймила меня этим словом, неподцензурным, шитым голубыми нитками.

Обесславленная — это галлюцинация.

Пока я лежала на белых кафельных плитах, тот случай со змеей, а потом и с Леонардо, подорвавшим мои силы, постоянно наталкивался на другие тревожные мысли. Я смотрела вверх широко распахнутыми глазами, а из кранов всю ночь капало.

История

Младшая сестра поворачивается в мою сторону, открывая лучистые карие глазенки. Она лежит поперек отцовских колен на мягком синем диване. Александра кладет голову на плечо моему папе. Когда папа берет в чашу ладони ее подбородок и приближает к губам, я не могу избавиться от мысли, что он подсмотрел этот жест в старом фильме с Кларком Гейблом и теперь примеряет к себе. Сценка-то обесславленная. Это слово — как рана. Кровоточит. В этом смысле «Обесславленная» недалеко ушла от «Обезглавленной».

У меня болит голова; мама описывала мигрень как хлопанье двери в голове. Сжимаю ладонями лоб, а потом провожу пальцами вниз и нажимаю мизинцами на веки, да так, что вижу нечто черно-красно-синее.

— Тебе что-то в глаз попало, София?

— Да. Мошка, наверно. Папа, можно поговорить с тобой наедине?

Детские тапки едва удерживаются на ступнях Александры; она адресует мне улыбку, брекеты сверкают под солнцем, которое тут заполняет все

жизненное пространство, и в этом их пространстве живется мне чересчур напряженно. Теперь Александра одной рукой обнимает отца за плечи и запускает пальцы ему в волосы. Он кое-как высвобождается из объятий своей возлюбленной-девочки-маменьки, чтобы поговорить со мной наедине.

Мы с ним уходим ко мне в комнату; он затворяет дверь. Я точно не знаю, что хочу ему сказать, но это связано с просьбой о помощи. Никак не соображу, с чего начать. Между нами пролегли очень долгие годы молчания. Так с чего же начать? Как вообще начинают разговор? Надо бы покружить во времени, в прошедшем-настоящем-будущем, но в каждом из них мы запутались.

Стоим в этом чулане; время искривилось. Дышать нечем, но вдруг налетает ветер и кружит нас в вихре. Ветер дует нещадно; это история. Меня отрывает от пола, волосы развеваются, руки тянутся к отцу. Та же самая сила подхватывает и его, швыряя спиной о стену; руки бессильно болтаются.

Он хочет обмануть историю, обмануть ураган.

Мы стоим на расстоянии вытянутой руки.

Я хочу объяснить, что беспокоюсь за маму, но не уверена, на сколько еще меня хватит.

И, дескать, подумала: не согласен ли он вписаться?

Что значит «вписаться», я и сама толком не знаю. Можно было бы попросить о финансовой помощи. Можно было бы попросить его просто выслушать, как у нас обстоят дела. Разговор получится долгий, то есть я фактически посягаю на его время. Выгодно ли ему меня слушать?

— Ну, София? О чем ты хотела поговорить?

— Я подумала, что хорошо бы мне для завершения диссертации поехать в Штаты.

Он уже где-то далеко. Глаза прикрыты, лицо замкнуто.

— Аспирантура платная. Кроме того, мне придется оставить Розу в Британии одну. Не знаю, как поступить.

Отец сует руки в карманы серых брюк.

— Как хочешь, так и поступай, — говорит он. — Для обучения за рубежом предлагаются вполне доступные гранты. Что же касается твоей матери, она сама выбрала такой образ жизни. Это не моя забота.

— Я просто с тобой советуюсь.

Он пятится к закрытой двери.

— Как мне быть, папа?

— Я тебя умоляю, София. Александре нужно

поспать: твоя сестра съедает ее заживо. Да и мне требуется отдых.

Кристос. Александра. Эвангелина.

Им нужно вздремнуть.

Все мифы Древней Греции повествуют о несчастливых семьях. Я — та частица семьи, что спит на раскладушке в гостевой комнате. Эвангелина означает «провозвестница». Что бы мне такое возвестить? Да вот же: я взяла на себя уход за первой женой отца.

Иду за ним, а он держит путь к мягкому синему дивану, чтобы воссоединиться с родными. Я вся клокочу. Пытаясь успокоиться, впериваюсь в стену. Однако стена — это не прохладное чистое пространство: с нее ухмыляется множество уток. Мой отец украдкой смотрит на меня, а сам складывается на диване, рядом с женой и дочкой. Ему хочется, чтобы я его глазами увидела их новую счастливую семью.

Присмотрись: как умиротворенно мы отдыхаем!

Прислушайся: у нас никто не кричит!

Обрати внимание: у каждого свое место!

Полюбуйся, как моя жена ведет дом!

Мой взгляд на его семью непременно должен совпасть с его взглядом. Он предпочитает, чтобы

никакой другой точки зрения у меня не было.

Но у меня своя, а не отцовская точка зрения.

Точка зрения становится моим объектом изучения.

Весь мой потенциал — у меня в голове, но нигде не сказано, что от этого моя голова должна стать самой привлекательной частью тела. Не придется ли папе краснеть за мою новорожденную сестру, как за меня? У нас с ней есть секретная игра. Когда я глажу ей ушко, она закрывает глаза. Но стоит мне пощекотать ей пяточку, как она их открывает и смотрит на меня со своей точки зрения.

Мой отец обожает, когда они все втроем закрывают глаза.

Его любимая фраза: «Пора закрывать глазки».

Оставив их дремать на мягком синем диване, я направилась в сторону Акрополя. Через некоторое время стало ясно, что по такой жаре мне далеко не уйти, поэтому я купила персик и нашла для себя скамейку в тени. Полицейский на мотоцикле преследовал смуглого пожилого дядьку, толкавшего перед собой груженную металлоломом тележку из супермаркета, которую собирался вернуть на место к концу дня. Это ничем не напоминало стремительную экранную погоню:

человек шел неспешно, а временами просто останавливался, и тогда мотоцикл барражировал кругами, но все же это было преследование. В конце концов преследуемый просто бросил тележку и скрылся. Этот дядька напоминал моего учителя начальных классов, только у того из кармана рубашки всегда торчали две авторучки.

Когда я вернулась в Колонаки, Александра и Кристос сидели за столом и перекусывали белой фасолью в томате. Александра сказала, что фасоль — из банки, но мой папа добавил к этому блюду укроп. До укропа он жаден! Поскольку об отце я практически ничего не слышала, мне было приятно узнать, что он любит укроп. Это отложится в памяти. В будущем я стану говорить: да, отец любил укроп, особенно с белой фасолью.

Александра ткнула пальцем в лежащий на столе пакет.

— От твоей матери, — сообщила она.

Бандероль была адресована Кристосу Папастергиадису.

Кристос явно нервничал: он набивал рот фасолью и делал вид, что знать не знает ни о каком пакете.

— Открой, папа. Вряд ли там отрубленная голова или что-нибудь этакое.

Сказав эту фразу, я тотчас же усомнилась. Что, если собака, жившая при школе дайвинга, вовсе не утонула и Роза отрубила ей голову, чтобы заказной бандеролью отправить в Афины?

Отец подсунул кончик ножа под слой оберточной бумаги со всеми положенными марками и слоями клейкой ленты.

— Что-то квадратное, — сообщил он. — Коробка.

На коробке был изображен йоркширский пейзаж. Гряда холмов, низкие каменные стены, каменный домик с красной входной дверью. Отец перевернул коробку другой стороной и уставился на изображение стоящего в поле трактора и трех пасущихся вблизи овец.

— Чай в пакетиках. Упаковка йоркширского пакетированного чая.

И записка. Он прочел ее вслух.

— «С чувством солидарности в период строгой экономии — семье из Колонаки от семьи из Восточного Лондона, временно проживающей в Альмерии».

Кристос покосился на Александру.

— Он чай не пьет, — объяснила та.

Отцовские губы облепил томат с укропом. Александра передала ему аккуратно сложенную

уголком бумажную салфетку. В стакане на столе таких стояло несколько штук.

— Я слежу, чтобы на столе всегда были салфетки, потому что твой папа любит делать из них цветы. Так ему лучше думается.

Надо же, никогда не знала.

— Вот что, — сказал отец, вытирая губы салфеткой. — В качестве отвальной поведу тебя туда, где подают греческий кофе.

Сдвинув очки на коротко стриженное темя, Александра читала текст на коробке с йоркширскими чайными пакетиками.

— София, а Йоркшир — это где?

— Йоркшир — это в северной части Англии. Оттуда родом моя мама. Ее девичья фамилия Бут. Роза Кэтлин Бут. — Сказав это, я сразу ощутила связь с чем-то важным, недоступным Александре. С моей мамой и ее йоркширскими корнями.

Отец бросил салфетку на стол.

— Йоркшир славится пивом сорта «Биттер».

Накануне моего отъезда он повел меня в кафе под названием «Розовый бутон», чтобы угостить обещанным греческим кофе. Мне подумалось: нет ли здесь подсознательного тяготения к первой жене. В самом деле, он взял ее в жены еще бутоном; но я не стала допытываться, чтобы не

провоцировать его на разговор о шипах. Мамино имя само наводит на такие мысли. Было бы несправедливо считать, что он и есть пресловутый незримый червь, сгубивший жизнь розы[6]. Даже я это понимала. Мы с ним сидели рядышком, потягивая приторный илистый кофе из крошечных, как положено, чашек.

— Я очень доволен, что ты познакомилась с сестрой, — сказал отец.

Мы наблюдали за старушкой-нищенкой, переходящей от стола к столу. В руках у нее был пластиковый стакан. В ветхой, но тщательно залатанной, отутюженной юбке с блузой и — точь-в-точь как моя мама — в наброшенном на плечи жакете она сохраняла достоинство. Посетители в большинстве своем опускали в стакан монетки.

— Я тоже довольна, что познакомилась с Эвангелиной.

Отец, как я заметила, никогда не улыбался.

— Чтобы стать счастливой, она должна открыть сердце Господу.

— У нее будут собственные взгляды, папа.

Он помахал какой-то мужской компании, ко-

---

[6] Примечания: 6
Аллюзия на стихотворение У. Блейка «Больная роза».

торая резалась в карты. А через некоторое время завел разговор о том, как много для него значит, что я потратилась на покупку авиабилета до Афин. И, конечно же, что я самостоятельно добралась на арендованной машине из Альмерии до аэропорта Гранады.

— Ввиду твоего завтрашнего отъезда я бы хотел выделить тебе кое-какие карманные денежки.

Непонятно, почему карманные денежки нужно выделять перед отъездом, но я все равно была тронута. В последний раз он, по собственному выражению, выделил мне карманные денежки одиннадцать лет назад; наверно, поэтому от его фразы повеяло детством. Вынув бумажник, он положил его на стол и потыкал большим пальцем в потертую коричневую кожу. Реакции не последовало; отец изобразил удивление.

Раскрыв бумажник двумя пальцами, он принялся шарить внутри.

— Эх, — произнес отец. — Забыл в банк зайти.

Он повторно запустил пальцы в бумажник, долго рылся во всех отделениях и в конце концов выудил одну-единственную банкноту в десять евро. Поднес ее к глазам. Опустил на стол, разгладил и торжественно вручил мне.

Я допила кофе и, когда к нашему столу, прихра-

мывая, подошла старушка-нищенка, опустила десять евро в пластиковый стакан. Она заговорила по-гречески и поцеловала мне руку. Впервые за все время хоть кто-то в Афинах проявил ко мне теплоту. Трудно было смириться с тем, что главный мужчина в моей жизни блюдет свою выгоду за мой счет. Впрочем, это открытие в каком-то смысле меня освободило.

Полуприкрыв глаза и шевеля губами, Кристос Папастергиадис, похоже, молился. В то же самое время пальцы порхали над салфетницей из нержавеющей стали. Он вытащил из этой коробочки тонкую бумажную салфетку, сложил пополам, затем вчетверо, а уже из квадрата как-то получился круг, который чудесным образом превратился в цветок с трехслойными бумажными лепестками.

Отец держал его на ладони, как подношение, а скорее, как вотивное изображение, с которым просят о милости или, опустив в фонтан, загадывают желание.

Мой палец указывал на цветок, покоящийся у него на ладони; у отца был недоуменный вид: будто он и сам не понимал, откуда взялась эта поделка.

А я уже набралась дерзости.

— Не иначе как ты сделал этот цветок для меня.

Наконец он поднял на меня взгляд.

— Да, я сделал его для тебя, София. Тебе же нравится носить в волосах цветы.

Отец вручил его мне; я поблагодарила за предупредительность (о которой он и не помышлял). Он порадовался, что все-таки сделал мне подарок, а еще больше — что я тут же не избавилась от такого дара.

У меня нет плана Б по замене отца, поскольку я далеко не уверена, что мне нужен муж-отец, хотя в структурах родственных связей бытуют такие смешения. Жена может оказаться матерью своего мужа, сын может стать мужем или матерью своей собственной матери, а дочь может стать сестрой или матерью своей собственной матери, которая может стать отцом и матерью своей собственной дочери — вот, наверное, отчего все мы прячемся в табличках друг друга. Мне просто не повезло, что отец устранился из моей жизни, но я же не сменила фамилию на «Бут», хотя было, конечно, искушение назваться так, чтобы люди могли это написать и произнести без ошибок. Он дал мне свою фамилию, и я от нее не избавилась. И даже нашла этому обоснование. Отцовская

фамилия поместила меня в более широкий мир имен собственных, которые нелегко написать и произнести.

Когда мы пешком возвращались в Колонаки, меня преследовал образ отца, молящегося в кофейне «Розовый бутон». Я вдруг забеспокоилась об Александре. Меня давно поразила отцовская отчужденность, способность абстрагироваться в минуты напряжения между нами, а также привычка вслух разговаривать с богом, как будто бог — это телефон, подключенный к папиной голове.

Войдя в квартиру, мы обнаружили, что Александра лежит на мягком синем диване и притворяется спящей. Кристос на цыпочках подошел к жене, бережно снял тапки с ягнятами на мысках и аккуратно поставил их на пол. Затем он выключил верхний свет, включил бра и приложил палец к губам:

— Т-с-с-с-с-с-с-с. Не буди ее.

Александра и не думала спать.

Отец постоянно суетился рядом с ней, держа одеяло, простыню, подушку. Казалось, он использует любую возможность, чтобы уложить ее спать, а она подыгрывала роли мужа как семейного анестетика. Александра совершенно точно

не спала. Мы смотрели друг на дружку со своих различных точек зрения.

Наутро я собрала чемодан и сложила походную койку, выделенную мне хозяевами дома. Перед уходом на работу отец даже не подумал разбудить меня, чтобы попрощаться. Александру я нашла на балконе: она стояла в ночной рубашке. По всей видимости, ее вниманием полностью завладела белка, прыгавшая по веткам ближайшего дерева. Александра отняла от груди Эвангелину, чтобы та тоже могла поглядеть на зверушку.

Когда я сказала «до свидания», Александра вздрогнула — как видно, я ее напугала.

— Ой, это ты, София.

А кто же еще? Будь это мой отец, неужели она бы зевнула и объявила, что готова вздремнуть на мягком синем диване?

Когда я поблагодарила за то, что они меня приютили, Александра ответила, что ей жаль расставаться: теперь ей не с кем будет поболтать по утрам.

Ее девственно-белая хлопковая ночнушка, отделанная кружевом по рукавам и вороту, была расстегнута для кормления Эвангелины. Сегодня короткие темные волосы спутались и выглядели жирными.

Мне пришло в голову, что я ни разу не видела рядом с ней подруг.

— У тебя есть братья и сестры, Александра?

Она вновь уставилась на белку.

— Насколько мне известно, нет.

Александра призналась, что ее удочерили. Выросла она в Италии, но теперь, когда ее родители — приемные родители — состарились, им трудно приезжать в Афины, чтобы повидаться. Ее тревожит размер их пенсий, потому что в Италии тоже введен режим строгой экономии, но она, когда еще работала, регулярно оказывала им посильную помощь. Сейчас с этим сложнее, потому что у моего папы есть собственные планы и мысли, но она считает, что в итоге все образуется.

Развернув к себе Эвангелину, она стала целовать пухлые младенческие щечки.

Это была почти религиозная сцена: молодая сиротка-мать прижимает к груди любимое дитя.

Не иначе как в свое время Александра стала легкой добычей для Кристоса: ей требовался отец и одновременно муж. Постеры с Дональдом Даком, тапки с ягнятами, мармеладки и притворный сон на папином плече — все это, по-видимому, были попытки создать для себя новое детство. Детство, в котором она не оказалась брошенной.

К ее соску прильнула, шевеля в воздухе крошечными пальчиками ног, моя сестра, глазастенькая, полусонная, равнодушная ко всему, кроме восхитительного материнского молока.

Александра сощурилась.

— Не принесешь мне стакан воды? У меня руки заняты.

Я наполнила стакан водой из бутылки, стоявшей в холодильнике, добавила лед, ломтик лимона, а для пущего удовольствия Александры еще и клубничину.

У Александры был изможденный вид.

Я поцеловала ее в бледную щеку.

— Моей сестре повезло: у нее нежная и терпеливая мама.

Она хотела что-то сказать, но проглотила свою мысль.

— Что ты жмешься, Александра? — Я становилась все более дерзкой.

— Если когда-нибудь захочешь выучить греческий, я охотно с тобой позанимаюсь, пока малышка спит.

— И как же ты намерена меня обучать?

Она вновь посмотрела на белку и отметила: надо же, какая доверчивая, подбежала совсем близко.

— Ну, если в Испании ты сумеешь ознакомиться с греческим алфавитом, я буду писать тебе по электронной почте отдельные предложения, а ты будешь отвечать, тоже по-гречески, вот и получится беседа.

— Что ж, давай попробуем.

Я еще раз поблагодарила, а потом на греческом посоветовала ей чувствовать себя более свободно в плане финансовой помощи родителям, живущим в Риме.

Сформулировать пару отнюдь не примитивных фраз на языке, которым я, по сути, не владею, было еще труднее оттого, что адресовались они профессиональному финансисту.

Улыбнувшись, Александра переспросила по-гречески:

— Ты сказала, что я должна чувствовать себя «более свободно»?

— Да.

— Я никогда еще не чувствовала себя более свободно.

Мне хотелось, чтобы с этого места она рассказала поподробнее, но я плохо воспринимаю языки на слух. А кроме того, мне понадобилось бы время, чтобы отрешиться от мысли о греческом как о родном языке бросившего меня отца. Я поцелова-

ла младшую сестру в каждую из смуглых пяточек, а потом поцеловала ей руки.

Когда я катила чемодан к остановке автобуса икс девяносто пять, идущего в аэропорт, ко мне вдруг вернулось ощущение себя.

Одной.

Поверх моих вещей в чемодане лежал цветок, сложенный отцом из тягостных мыслей. Цветок, изготовленный из бумаги, подобно книгам, которые всю жизнь индексировала моя мать — заведующая библиотекой. Она внесла в каталоги миллиард слов, но так и не нашла тех, что могли бы рассказать, как ее желания разметало ветрами и бурями мира, не приспособленного к ее выгоде.

Девушка-гречанка возвращается в Испанию. К медузам. В душные ночи. В пыльные тупики. В нестерпимый альмерийский зной. Ко мне. Я позову ее сажать оливы. Она выкопает лунку для молодого деревца. Каждый саженец я подвяжу к бамбуковому шесту, чтобы их не погнул ветер. Форма дерева не должна зависеть от прихотей ветра.

Лекарственные средства

Мама начала требовать воды по-испански:

— *Agua agua agua agua.*

Звучит прямо как «агония агония агония агония».

Как будто находишься в одной комнате с Дженис Джоплин[7], в одночасье лишившейся таланта. Приношу стакан воды, потом обмакиваю туда палец и увлажняю мамины губы.

— Как ты нашла отца?

— В полном счастье.

— Он обрадовался твоему приезду?

— Не знаю.

— Жаль, что он не проявил большего радушия.

— Пусть об этом у тебя голова не болит.

— Ну, ты и сказанула.

— У него у самого голова больная.

— Понимаю твои чувства.

— Ты тоже сказанула. Тебе не понять мои чувства!

— Какая-то ты сегодня странная, София.

---

[7] Примечания: 7

Дженис Лин Джоплин (1943–1970) — американская рок-певица, бунтарка.

Она рассказала, что за время моего отсутствия страдала от жидкости в коленном суставе. Мэтью любезно предложил отвезти ее в Центральную больницу Альмерии. У нее нашли растяжение связок, но случай оказался несложным. Врач прописал ей целую обойму лекарств. От антидепрессантов у нее тошнота, хотя она предположила, что такой эффект могут также давать новые средства от холестерина, от давления, от головокружения и от кислой отрыжки. Он также назначил ей средства от побочных эффектов на противодиабетическое лечение, противовоспалительное, от подагры, легкое снотворное, миорелаксант и слабительные.

Я спросила: а что думает Гомес по поводу назначенного в больнице курса лечения?

— Он запретил мне водить машину.

— Тебе же нравилось водить машину.

— Но этот массаж нравится мне куда больше. У тебя хорошие руки. Вот бы ты смогла их отрезать и оставить мне, прежде чем на весь день убежать на пляж.

Я ждала, когда же завоет собака Пабло, но потом вспомнила, что сама ее освободила.

Крупное морское животное

— Ты — мое вдохновение и чудовище!

Мы с Ингрид лежим на камнях в тени пещер, выдолбленных в скалах. Набрали большие охапки черных водорослей и завернули в полотенца — получились подушки. На веках у меня сверкает голубой блеск; я надела тот самый атласный белый сарафан с завязкой на шее, который Ингрид спасла из корзины для уцененных вещей, приготовленной для отправки в винтажный магазин. У него на подоле пятна, так что подготовить его для продажи будет слишком трудоемко. На этот раз она оформила вырез геометрическим узором из голубых кружков и зеленых линий. Говорит, его нельзя считать абстрактным, поскольку он в точности повторяет рисунок на коже ящерицы, которую она пыталась подстрелить, пока я не вклинилась.

Мне нравится, как атлас лежит на бедрах и волной скользит между ног. Волосы слегка выгорели на концах; я почти неделю их не расчесываю. Сегодня утром Ингрид втерла кокосовое масло в мои кудри, икры, ступни и потрескавшиеся

губы.

— Подвинься ближе, Зоффи.

Пододвигаюсь ближе. Теперь ее губы прижаты к моему уху на подушке из водорослей.

— Ты — голубая планета с пугливыми карими глазами, как у маленького зверька.

С ошибочным прочтением вышитого ею слова я решила смириться. Кто я такая, чтобы критиковать, как она мыслит при помощи своей иглы, даже если мне обидно?

— Зоффи, зачем ты по ночам жжешь эти спирали цитронеллы?

— А как ты узнала?

— По запаху.

— Этот запах, — говорю, — комаров отпугивает. А меня успокаивает.

— Значит, тебе тревожно, Зоффи?

— Да. Похоже на то.

— Мне это в тебе нравится.

Ингрид хлопает себя по рукам и плечам, потому что здесь полно слепней. Как правило, она обходит этот пляж стороной, но ради меня сделала исключение. Рассказывает мне про Ингмара, чьи дела пошли в гору после того, как утонула обезумевшая собака Пабло.

— Не переживай, Зоффи, ты дала этому кобель-

ку свободу умереть.

Нет-нет-нет (нашептывается ей в ухо).

— Ты оказала ему добрую услугу. Сидя на цепи, он был уже мертв. Это не жизнь.

— Он не был мертв. Он хотел изменить свою жизнь.

— Животные лишены воображения, Зоффи.

Ее рука ложится мне на живот.

— Может, он вовсе и не утонул.

— Ты его видела?

— Нет.

— Ты в последнее время слышала, как он воет?

— Нет.

— Давай сменим тему, я тебе еще кое-что расскажу про Ингмара.

— Давай.

В своем нежно-голубом, отделанном бахромой бикини она лежит на бедре. Время от времени на солнце вспыхивает ювелирный камешек у нее в пупке.

— Ты готова, Зоффи?

— Да.

— Пока ты была в Афинах, на наш местный пляж нагрянула морская полиция на специальном катере. Взяли пробы воды и обнаружили разлив бензина. Всех выгнали из воды. Ингмар

злился, потому что эта шумиха причиняла беспокойство клиентам. Он выскочил из своей палатки в одних трусах и стал доказывать полицейским, что они ошиблись, что приборы у них неточные, что море прозрачное, а значит, чистое. Тогда уже разозлились полицейские и велели ему глотнуть этой воды. Он взял пустую бутылку, набрал морской воды и выпил, а потом и говорит, мол, да, действительно, был разлив бензина. Так теперь он мучается рвотой, работать не может и собирается засудить морских полицейских за то, что они его вынудили пробовать воду.

— А ведь в ней мог плавать труп собаки Пабло.

— Вот именно, Зоффи! Так и есть! Утонувший кобелек заразил воду.

Солнце льется на ее удлиненное золотистое тело.

— Значит, ты от меня сбежала, чтобы проведать папашу?

— Я от тебя не сбегала.

— Расскажи про сестренку.

Я описываю мягкие темные волосы Эвангелины, смуглую кожу, проколотые мочки ушей.

— Вы с ней похожи?

— Да, у нас глаза одинаковые. Но она будет знать три языка. Греческий, итальянский, ан-

глийский.

Ингрид вновь переворачивается на спину и смотрит в небо.

— Рассказать тебе, почему я — «злая старшая сестра»?

— Расскажи.

Накрыв лицо соломенной шляпой, она заводит свою историю; я волей-неволей поворачиваюсь на бок и опираюсь на локоть, чтобы слышать ее рассказ из-под шляпы. Говорит она монотонно, невыразительно, и мне приходится напрягать слух, чтобы разобрать ее слова.

Это был несчастный случай. Когда ее сестре было три годика, а Ингрид пять, она качала малышку на садовых качелях и раскачала слишком сильно — не учла своей мощи. Сестренка упала с качелей. И получила серьезные травмы. Перелом руки, трещины в трех ребрах. Ингрид умолкает.

— Тебе же, — говорю ей, — было всего пять лет. Ты тоже была еще несмышленым ребенком.

— Но я намеренно ее раскачала слишком сильно. Она вопила, хотела слезть, а я все раскачивала.

Я подняла с камней белое перышко и провела пальцем по краю.

— Это еще не все, — продолжает Ингрид.

У меня в груди поднимается паника; так всегда бывает, когда я с Ингрид.

— Сестра упала вниз головой. Рентгеновский снимок показал, что у нее треснул череп и поврежден мозг.

Во время ее рассказа я невольно задерживаю дыхание. Пальцы терзают перышко.

Она встает; шляпа падает. Ингрид хватает рыбацкий сачок, который принесла с собой на пляж, и шагает по камням к маленькой бухте, спрятанной за излучиной главного пляжа. Я понимаю, что ей нужно побыть одной, поднимаю ее шляпу и кладу на подушку из водорослей.

Кто-то зовет меня по имени.

Из-под навеса одной из пещер мне машет Джульетта Гомес. Волосы у нее мокрые, явно после купания. Запрокидывая голову, она маленькими глотками пьет воду из бутылки. Потом машет мне этой бутылкой — видимо, зовет присоединиться.

Я карабкаюсь по камням, заправив сарафан в трусы, чтобы не путался в ногах, а потом сажусь рядом с ней.

Неотрывно смотрю на Ингрид, которая обреченно прислонилась к скале на мелководье. Сачок приносит одних медуз.

На солнце зубы Джульетты ослепительно белы;

ресницы длинные, шелковистые.

Она протягивает мне бутылку, но я мотаю головой. А потом передумываю. Холодная вода успокаивает. В моем теле роем невидимых ночных насекомых по-прежнему вибрирует паника, накатившая от рассказа Ингрид о сестре.

— Ты выглядишь как поп-звезда, София, — говорит Джульетта. — Не хватает только гитары и музыкантов. Мой отец будет стучать на ударных.

Она так громко хохочет, что мне удается выдавить подобие улыбки, но мое внимание приковано к Ингрид. Она стоит на мелководье спиной ко мне. Потерянная, одинокая.

Джульетта объясняет, что один из санитаров клиники подбросил ее сюда на мотоцикле и заедет за ней в конце дня. Гиперзаботливый отец распорядился, чтобы персонал не позволял ей садиться на мотоцикл без шлема. Она вне себя.

Жестом она указывает на свою бутылку с водой.

— Я предпочитаю водку — назло отцу. Ему ненавистны все наркотики. Он все еще оплакивает маму, и для него оскорбительно даже думать, что лекарствами можно заглушить боль памяти и воспоминаний.

Ингрид по-прежнему таскает желтым сачком

одних медуз и вываливает их на песок.

— Медузы, — заговариваю я, как о чем-то важном.

— Да, — отвечает Джульетта. — Говорят, что если пописать на ожог, боль утихнет, но это миф.

Я спрыгиваю вниз от пещеры, которую заняла Джульетта, и направляюсь к подушкам из водорослей. Сегодня с самого утра я съездила в загородный супермаркет, чтобы купить для Ингрид ее любимой немецкой салями, зеленого салата, апельсинов и винограда. Взобравшись на камни, она говорит, что ей слишком жарко на этом уродском диком пляже. Она бросает взгляд на пещеру, где загорает Джульетта, и заявляет, что хочет домой.

— Не уходи, Ингрид. — В моем голосе звучат отвратительные заискивающие нотки.

Я еще не оправилась от шока после ее рассказа о сестре и хочу еще раз повторить, что ее вины здесь нет. Она была ребенком и совершила ошибку. Но мне мешает слово «Обезглавленная».

Ингрид протискивается мимо меня и начинает собирать вещи.

— Хочу поработать, Зоффи. Меня так и тянет взяться за иголку. Сейчас мне нужно только подобрать по цвету нитки и начать.

Рядом с нами мальчуган лет шести вгрызается, как в персик, в гигантский красный помидор. На грудь брызжет сок. Мальчик откусывает еще и смотрит, как я помогаю Ингрид зашнуровать ее высокие серебристые «гладиаторы».

— Ты такая красивая, Ингрид.

Она смеется. Вообще-то надо мной.

— Я не могу целый день бездельничать, как ты. Мне работать нужно.

У нее звонит мобильный. Я знаю, это Мэтью: контролирует, узнает, где она находится, и понимает, что она со мной.

— Я на пляже, Мэтти. Слышишь море?

Я тянусь к ней и выхватываю телефон.

Ингрид кричит, требует его отдать, но я бегу к морю, она за мной; сбрасывает и оставляет на песке свои римские сандалии, чтобы не путаться в шнурках. Догоняет меня и ловит за подол атласного сарафана. Я слышу, как рвется материя, и в этот миг забрасываю телефон в море. Мы обе следим глазами, как он секунды три плывет с трепетно-спокойными медузами, которые ходят кругами, а потом тонет.

Море лижет подол моего атласного сарафана.

Ингрид вытирает глаза от песка.

— Ты на мне помешалась, — говорит она.

Я, конечно, помешалась на ее власти сбивать меня с толку. Вытаскивать меня из всех моих уверенностей, при том, что она определенно не испытывает ко мне уважения. Я заинтригована тем, как она привлекает мужчин, боготворящих, как и я, ее красоту, и тем, как она умеет латать прорехи и разрывы при помощи иглы, будто совершая хирургическую операцию на себе.

Зайдя в море, Ингрид что есть мочи дергает меня за волосы.

— А ну, достань мой телефон, животное.

Она макает мою голову в теплую мутную воду. Когда я начинаю вырываться, она окунает меня снова и снова, теперь упираясь коленом мне в плечо. Ингрид толкает меня, как толкала качели, на которых сидела ее сестра. Как будто повторяет свой детский опыт, но уже со мной. В воде появляется кто-то еще. Рука, потом пара рук обхватывают меня за пояс и тянут вверх, в то время как Ингрид толкает меня вниз. У меня над головой смыкается вода и сбивает меня с ног. Когда я нахожу опору и высовываюсь на поверхность, рядом оказывается Джульетта Гомес, которая топчется в воде, отжимая мокрые волосы. Тут до нас обеих доносится женский вопль. Пронзительные крики долетают от маленькой бухты у скал.

Ингрид прыгает по песку на левой ноге, сжимая руками правую. Она угодила в кучу медуз, которых вывалила на песок из рыболовного сачка.

Злость у меня проходит; можно подумать, я впрыснула токсины своей ярости ей в ногу.

Джульетта смотрит на меня; ее разбирает смех.

— Твои границы сделаны из песка, София[8].

— Да, — говорю. — Знаю.

Рядом с нами на волнах качается чайка.

Я возвращаюсь к своим вещам и начинаю свертывать полотенце. Не хочу отпускать Ингрид с пляжа одну. Сейчас она забрала надо мной еще большую власть. Моя тема — память. Ингрид повторяет травматическое воспоминание из прошлого, инсценируя его передо мной, потому что знает: мои границы сделаны из песка.

— Зоффи, ты взбалмошная и суматошная, увязла в долгах, дома бардак. Теперь еще утопила мой телефон. Что мне теперь делать? Я же потеряю работу.

— Пусть твои заказчицы поговорят с рыбами.

---

[8] Примечания: 8

Книга пророка Иеремии 5:22: «Меня ли вы не боитесь, говорит Господь, предо Мною ли не трепещете? Я положил песок границею морю, вечным пределом, которого не перейдет; и хотя волны его устремляются, но превозмочь не могут; хотя они бушуют, но переступить его не могут».

Я снимаю намокший атласный сарафан и начинаю вытирать бедра. Мальчонка, по-прежнему терзающий гигантский помидор, несколько мгновений глазеет на меня, а потом убегает.

— Ты его напугала, Зоффи: у тебя лицо голубое. Тени потекли по щекам, ты похожа на морское чудовище. — Ингрид нашла салями и сдирает оболочку. — Я не останусь тут с медузами и слепнями. — С набитым ртом она поднимает взгляд к пещерам. — Тем более что мне не нравятся твои знакомые.

Джульетта машет рукой; я машу ей в ответ.

Ингрид разглядывает вспухающие рубцы на ноге. Серебристые «гладиаторы» покачиваются на мелководье бухты, но она слишком поглощена ожогами, чтобы еще следить за обувью.

— Если зайдешь, пока я на работе, можешь заняться саженцами олив, а когда спадет жара, пойдем прогуляться.

Это приглашение. Звучит как совместный план влюбленных.

Опустившись на камень, Ингрид рассматривает изжаленную ногу.

— Это миф, — говорю я.

— Что — миф?

А вот это большой вопрос. Вернее всего будет

сказать, что для меня миф — это наваждение.

Когда мы добрались до ее летнего домика, Ингрид первым делом бросилась искать катушки ниток, а потом вывернула на пол содержимое корзины с одеждой из винтажного магазина. Игла в ее пальцах выглядела как оружие, атакующее ткань.

— Ты совсем обленилась, Зоффи! Займись саженцами. Сначала нужно вырыть лунки.

Я даже не представляю, как подступиться к посадке деревьев. Я очень многое не умею, но умею держать язык за зубами. Я думала о Мэтью с Джульеттой, когда оглядывала дом, которым обзавелись в Испании Мэтью с Ингрид. Среди прочего, здесь была выставлена напоказ структура родственных связей каждого. К пробковой доске крепились фотоснимки их родни. Мать и отец Мэтью, отец Ингрид и, насколько можно было судить, двое братьев Мэтью и брат Ингрид — то ли родной, то ли двоюродный. Фотографий сестры там не было. Пронзая ткань иглой, Ингрид заметила, что я выискиваю «кого не было там».

— Как по-твоему, Зоффи, она может быть счастливой, если безумна?

— Кто?

— Сама знаешь.

— Ханна?

Ингрид вроде как поразилась, как будто забыла, что сама назвала имя сестры в тот вечер, когда подарила мне шелковый топ с голубой вышивкой «Обезглавленная». Ей хотелось забыть, да игла вместо нее сохранила это воспоминание. Я не лентяйка. И не беспристрастный исследователь, потому что завязала отношения со своим информантом.

— Ее ум неподвижен, как листок, Зоффи?

— Листок не бывает неподвижным.

— Она помнит?

— Ум не бывает неподвижным.

— Мне порой хочется себя взорвать, — прошептала Ингрид.

Я опустилась на колени у ее ног и обхватила за талию.

Она протянула руку к моим волосам и поднесла к губам один локон.

— Я тебе все еще нравлюсь, Зоффи? — Кто-то постучался в окно. — Пока не скажешь «да» — темнота.

Я не сказала ничего. Вообще ничего.

— Пока темно, Зоффи. Весь мир в темноте. — Поверх моей головы она посмотрела в ту сторону,

откуда доносился стук. — Это Леонардо, — объявила она, будто в мир неожиданно вернулся свет.

Вот уж не думала, что когда-нибудь обрадуюсь появлению Леонардо, но его приход избавил меня от необходимости отвечать на вопрос. Слегка прихрамывая, Ингрид прошла мимо меня к дверям. Левую ступню по-прежнему саднило от ожогов, но Ингрид ничего не замечала. Места, куда впивалось жало, интересовали ее лишь на моем теле. Встретив Леонардо, она вся расцвела и вскричала «Браво», когда увидела, что он прижимает к груди пару коричневых кожаных сапог для верховой езды. На мою долю достался только небрежный кивок. *Да, я знаю, что ты здесь. Радости мало. Вечно ты тут околачиваешься, когда я прихожу.*

Оконные стекла дребезжали от ветра; Ингрид сунула ноги в сапоги. Под нашими взглядами она изгибалась и подтягивала кожаные голенища, запустив внутрь большой палец. Сапоги доходили ей почти до колен. Она распрямила спину, выпятила бюст и гордо подняла голову, а Леонардо, порывшись в своей кожаной сумке, достал шлем. Она стояла с заносчивым, победным видом — молодая воительница, сражающаяся с мужчинами.

Кто ее противники? Значусь ли я в этом списке? За что она сражается?

Как похотливый раб, Леонардо выступил вперед.

— Когда решишь прокатиться на моем жеребце, тебе понадобится этот шлем.

Он нежно надел шлем ей на голову, убрал под него две длинные косы и повозился с застежкой под подбородком; она не шевельнулась и не проронила ни звука. А потом вежливо чмокнула Леонардо в щеку.

— Хочу сделать тебе ответный подарок: оливу, — сказала Ингрид.

В новых сапогах и шлеме она вышла в сад и вернулась с маленьким саженцем.

— Я сама уже посадила четыре деревца, Зоффи собирается посадить еще два, а седьмое — тебе.

По всей видимости, Леонардо почувствовал, что от него ожидают похвалы.

— Деревце жизнестойкое, — мрачно выдавил он.

Ингрид достала из холодильника две бутылки пива. Одну протянула мне, а сама полезла в задний карман, достала открывашку и откупорила вторую бутылку для Леонардо. Тот поднес холодное стекло к губам и сделал глоток, а я

так и стояла с закупоренной бутылкой, никому не нужная, как этот саженец. Не приходилось сомневаться, что Ингрид пробила стеклянный потолок неодобрения Леонардо. Я попросила открывашку. Взяв у меня бутылку, Ингрид одним точным движением отщелкнула крышку. Я приближалась к пониманию Ингрид Бауэр. Она всегда подталкивала меня к одной или другой крайности. Мои границы были сделаны из песка, и она решила, что их можно сдвигать, а я позволила. Дала невысказанное согласие, потому что хотела знать, что будет дальше, пусть и не к моей выгоде. Что мною движет: склонность к саморазрушению, к презренному бездействию, к безрассудству или просто к экспериментам, к скрупулезному отслеживанию принципов культурологии и антропологии, или же я просто влюбилась?

В Ингрид Бауэр сидело нечто такое, что меня зацепило, причем глубоко. Это было как-то связано с ее сапогами и шлемом. Они предлагали ей шанс галопом унестись от истории, которую она придумала сама для себя, но, как я подозревала, не сумела найти из нее выход, так и не выйдя из роли злой старшей сестры. Возможно, для нее та давняя история еще не закончилась.

Я отдала ей свою бутылку пива. Она взяла, обезумевшая от своей власти, влюбленная в сапоги и шлем, пожираемая взглядом глупого Леонардо, поднесла к губам бутылку и осушила в один присест. Леонардо вскричал «опа-на!», словно управляясь с необъезженной лошадью, поднес бутылку к губам и не успокоился, пока тоже не выпил ее залпом. Полыхая раскосыми зелеными глазами, которые, по ее словам, в темноте видели лучше, чем при свете дня, Ингрид повернулась ко мне.

— Леонардо научит меня гарцевать на своем андалузце.

Я знала одно. В этой комнате главная — я. Ингрид задумала этот притворный флирт с Леонардо лишь для того, чтобы замаскировать свое влечение ко мне.

Она была вуайеристкой.

Любительницей подглядывать за собственным желанием.

Теперь до меня дошло, что Ингрид Бауэр не стремилась, выражаясь буквально, меня обезглавить. Она ощущала свое желание как нечто чудовищное.

Она сделала меня чудовищем, которым ощущала сама себя.

Долго же она таилась рядом со мной, следила, подглядывала, ждала, сверхъестественно неподвижная, молчаливая. Все лето у меня в голове звучал ее голос, я видела, как она прячется, и слышала, как она дышит. Выдыхая огонь своего желания.

— Зоффи, мы с Леонардо хотим составить график уроков верховой езды.

Я подхватила сумку и перебросила через плечо. В воздухе плыли серебристые листья водорослей.

Отсечение

— Помогите, пожалуйста, миссис Папастергиадис снять туфли.

Сидя у себя в кабинете, Гомес посмотрел на часы. Было семь утра, и он явно досадовал, что пришлось в такую рань принимать мою маму. Джульетта Гомес сняла туфли Розе и передала мне.

Мама скривилась, уголки рта поползли вниз, а выступающий вперед подбородок задрался кверху; она заговорила.

— Я же довела до вашего сведения, мистер Гомес, что необходимости возобновления осмотров больше нет.

Опустившись на колени у ее ног, Гомес попросил ее пошевелить пальцами. У него на запястьях чернели волосы.

— Так чувствуете?

— Что я должна чувствовать?

— Давление на пальцы ног.

— Пальцы ног у меня отсутствуют.

— То есть не чувствуете?

— Мне больше не нужны эти ноги.

— Благодарю вас.

Он кивнул Джульетте Гомес, которая делала записи. Его серебристые брови выражали неистовство. Сегодня он встретил нас в накрахмаленном белом халате, который гармонировал с белой дорожкой волос. Висящий на шее стетоскоп делал его более обычного похожим на клинициста.

— Полагаю, в какой-то момент вы захотите послушать тоны моего сердца при помощи этого аппарата, — сказала Роза.

— Вы говорите, что в этом нет необходимости, и я вам верю.

Гомес повернулся ко мне и сложил руки на груди белого халата.

— Ваша мать подала жалобу на мои клинические методы. Вследствие этого через два дня к нам прибудут топ-менеджер фармацевтической компании из Лос-Анджелеса и инспектор департамента здравоохранения из Барселоны. Я попрошу вас обеих присутствовать. По моим сведениям, топ-менеджер из Лос-Анджелеса — это клиент мистера Мэтью Бродбента. Мистер Бродбент учил его навыкам эффективной коммуникации с инвесторами.

Когда я покосилась на Джульетту, та была по-

глощена своими записями.

Я спросила Розу, с какой стати она подала жалобу.

Она сидела очень прямо; видимо, с пяти утра она делала прическу. Сколотый шпилькой узел выглядел безупречно.

— Потому что у меня есть претензии. Мне стало гораздо лучше, когда я вернулась к медикаментозному лечению.

— Очень маловероятно, — сказал Гомес, — что новые назначения поставят вас на ноги. Не забывайте, пожалуйста, что мы еще ждем результатов эндоскопии.

Я не знала, что такое эндоскопия, и он объяснил:

— Это обследование внутренних органов, в данном случае гортани, с помощью специального прибора — эндоскопа. Он представляет собой длинную гибкую трубку с закрепленной на конце видеокамерой.

— Да, — подтвердила Роза, — процедура неприятная, но безболезненная.

Гомес кивнул Джульетте; та тоже пребывала в странном настроении: она заявила, что отныне будет лично стенографировать все консультации. Толкая кресло-каталку Розы к выходу, она даже

не посмотрела в мою сторону.

— София-Ирина, задержитесь, пожалуйста. — Гомес жестом предложил мне присесть к столу напротив него.

Я села и стала ждать; вошла другая медсестра и поставила на стол серебряный поднос с двумя круассанами и стаканом апельсинового сока.

Гомес поблагодарил медсестру за принесенный ему завтрак и попросил ее предупредить следующего пациента, что прием задерживается.

— Хочу обсудить с вами два вопроса, — обратился он ко мне. — Во-первых, насчет этого джентльмена из фармацевтической фирмы. Думаю, вам будет интересно. — Он поднес к губам стакан, но передумал и вернул нетронутый сок на поднос. — Наш гость из Лос-Анджелеса, сеньор Джеймс, занимается поиском эффективных стратегий расширения своего рынка сбыта. Не один год он оказывает на меня давление. Методы его чрезвычайно увлекательны. Вначале он создает болезнь, а затем предлагает лечение. — Гомес провел большим пальцем по белой дорожке волос.

— И как же он создает болезнь?

— Сейчас объясню.

Большим пальцем он не переставая описывал

на голове кружки, как будто старался удалить из черепа что-то неприятное. Через некоторое время он снял стетоскоп и положил на стол.

— Представьте, София-Ирина, что вы — до некоторой степени интроверт. Допустим, вам недостает дерзости, вы стеснительны и не умеете постоять за себя в повседневной жизни. Этот джентльмен настаивает, чтобы я называл такое состояние «социальным тревожным расстройством». В таком случае я смогу продать вам разработанное его фирмой средство от им же изобретенного расстройства. — Гомес приоткрыл рот, и внезапно улыбка его сделалась такой широкой, что я увидела свое отражение в золотых зубах. — Но вы, София-Ирина, сохраняя преданность антропологии, как и я, сохраняя преданность естественным наукам, — мы должны мыслить широко и не ограничиваться пределами Лас-Альпухарраса. Нам вовсе не обязательно оставаться рабами фармацевтических компаний. — Гомес пододвинул ко мне тарелку с круассанами. — Прошу вас, угощайтесь.

Это смахивало на подкуп. Говорил он любезно, однако явно был на пределе. Он покосился на компьютер.

— Удалось вам повидаться с отцом в Афинах?

— Да.

— И что?

— Отец от меня отказался.

— Ну-ну. Как от разбитой машины, не подлежащей восстановлению?

— Нет.

— Тогда как он от вас отказался?

— Он пытается забыть о моем существовании.

— Успешно?

— Он пытается строить свое существование на забывчивости.

— Забывчивость — это противоположность памяти?

— Нет.

— Значит, он от вас не отказался?

— Нет.

Он был со мной более участлив, чем родной отец. В тот единственный раз, когда я позвонила ему из Афин, он утверждал, что я — Леонардо да Винчи. Вероятно, да Винчи тоже хотел полететь к бросившему его отцу и потому был одержим воздухоплаванием. Насколько мне известно, самодельные летательные аппараты, пристегнутые к туловищу, разваливались и повергали его на землю.

Локтем я задела и опрокинула стакан. Меня

тоже нервировал предстоящий визит топ-менеджера.

Гомес сделал вид, что не заметил стекающих на пол ручейков сока. Он повторно указал на нетронутые круассаны. Он нервничал, но я ему доверяла. От него исходили отцовские чувства.

Я попробовала круассан.

— Вам присуще определенное *je ne sais quoi*[9], София-Ирина.

— Правда?

Он кивнул.

Я жадно поедала круассан. Во мне проснулся аппетит, несопоставимый с моей ролью и комплекцией. Как только я расправилась с первым, Гомес предложил мне второй.

Я тряхнула кудрями.

— Нет, спасибо. Это вредно.

Гомес вновь покосился на компьютер, потом на меня.

— Вести неутешительные, — сказал он. — Я не могу заниматься лечением вашей матери. Сомневаюсь, что она когда-либо начнет ходить. У нее

---

[9] Примечания: 9

Буквально «Сам не знаю что» *(фр.)*. В искусстве XVIII века употреблялось для описания невыразимой словами красоты. Определяет некую невыразимую суть искусства, нечто расплывчатое, неопределенное, но прекрасное.

призрачные симптомы, они появляются и исчезают, как привидения. Физиологической основы у них нет. Пока вы были в Афинах, она постоянно заводила разговор об ампутации. По большому счету, в этом и заключается ее желание. Она настаивает на оперативном вмешательстве.

Меня разобрал смех.

— Она шутит, — сказала я. — Просто вы не понимаете йоркширского юмора. Мама вечно приговаривает: «Надо покончить с моими ногами». Расхожая фраза.

Гомес пожал плечами.

— Возможно, это и шутка, только, безусловно, угрожающая. Но я уже сказал вашей матери, что ничем не смогу ей помочь. Она потерпела поражение.

Он добавил, что в его обязанности не входит уговаривать ее взять свои слова назад и даже отказаться от желания отсечь некоторые части тела. Вместо этого он намеревается возместить значительную часть своего гонорара. Более того, он уже сделал распоряжение, чтобы нужную сумму завтра же перевели на ее банковский счет.

По лестнице вверх я однажды шагал,
И вдруг, кого не было там, повстречал,

Назавтра опять не пришлось повидаться.

Когда ж перестанет он мне не являться?

Как получилось, что Гомес ложно истолковал мамин черный юмор и отказался от нее, как будто она говорила всерьез?

Она моя мать. Ее ноги — мои ноги. Ее боли — мои боли. Я у нее единственная, но и она у меня единственная. Если бы, если бы, если бы.

— Я ничем не смогу ей помочь, — повторил он.

— Да она просто вас разыгрывает! — выкрикнула я. — Это же не в буквальном смысле говорится, не взаправду.

Кончиками пальцев Гомес дотронулся до подбородка.

— У вас на подбородке крошки, — сказал он.

— Это не взаправду! — еще раз прокричала я.

— Понимаю, с этим нелегко примириться. Однако ваша мать будет и впредь настаивать на ампутации: она уже нашла некоего лондонского консультанта и, более того, записалась к нему на прием.

Гомес объявил, что наша беседа закончена. Я должна понимать, что миссис Папастергиадис

— не единственная его пациентка.

От потрясения мне даже не удалось встать. Вместо этого я воззрилась на верветку, скрючившуюся под своим стеклянным колпаком. Ярость моего взгляда могла разрушить ее последнее пристанище в кабинете Гомеса. Я освобожу ее, а она бросится в море и утонет.

Золотые зубы Гомеса открылись во всей красе.

— Сдается мне, вам хочется освободить нашего малыша-примата, чтобы он порезвился в кабинете и почитал мое собрание ранних изданий Бодлера. Но прежде вам нужно освободить себя от этого стула; дверь вот там. — Голос его зазвучал непривычно жестко. — Отправляйтесь-ка с рюкзаком в горы. Ни в коем случае не перенимайте материнскую хромоту и не примеряйте на себя то, что принадлежит ей одной. — Он указал на мои руки.

Я все еще держала мамины туфли, отделившиеся от ее ног.

Вчера красавица гречанка увидела трех кур, каждая

из которых была за одну ногу привязана к дереву во дворе сеньоры Беделью. И расплакалась. Это душевная боль. Тревога. Из-за жары умерло четыре цыпленка. Пусть она думает, что никто не замечает ее мук и страдальческой, шаркающей походки. Рядом с ней, как война, гремит взрывами любовь, а она не признает, что сама это начала. Притворяется, что безоружна, но любит дым. Любовь — это не все, что ей нужно, хотя у нее нет даже того, кто под звездами взял бы ее за руку и сказал «лунный бог». Ей нужна работа. А у меня других дел масса.

Рай

Лежу голышом на Пляже Мертвых. «Плайя де лос Муэртос». Над левой бровью впился крошечный осколок стекла. Не знаю, как он туда попал. «Плайя де лос Муэртос» — нудистский пляж. Для тех, кто хочет обнажиться, никакого укрытия не предусмотрено. Две стройные девушки лет семнадцати плавают нагишом в прозрачном бирюзовом море. Между ними плавает безобразный лохматый пес. Выйдя из воды, девушки начинают искать выброшенные на берег палки и вбивают их, как колышки для палатки, в сверкающую белую гальку. На эти палки они натягивают зеленое парео; получается тент, под него, в тень, заползает собака, а девчонки жарятся на солнцепеке. Одна извлекает на свет бутылку воды и наливает в миску, чтобы напоить пса. Гладит лохматую шкуру — и пес начинает выть.

Пес воет.

Его гладят, а он все равно воет.

Воет просто так.

О лучшей жизни и мечтать нельзя, а он все равно воет.

Это собака Пабло. Восточно-европейская овчарка. Немецкая овчарка. Из школы дайвинга. Я где угодно распознаю этот вой. Собака Пабло жива и воет на Пляже Мертвых.

Одна из девушек достает расческу и водит ею сверху вниз по длинным мокрым волосам. Видимо, эти ритмичные движения успокаивают взволнованное животное. Пес принимается лакать воду из миски. Девушка расчесывает волосы, а пес лакает воду.

Уделив достаточно внимания своему несчастному питомцу, девушки прислоняются спинами к его дышащему мокрому телу. Их лица устремлены к горизонту. Голый мужчина лет тридцати вместе со своим малолетним сыном запускает в море «блинчики». Почувствовав на себе взгляды голых девиц, он отворачивается от их красоты и вдруг швыряет в море увесистый камень. Он демонстрирует девушкам свою силу, а те притворяются, что не замечают, но на самом деле все-то они заметили. Мужчина — отец. Стоит рядом с сыном, принеся клятву верности неизвестно кому. Быть может, его заарканила такая же красотка, как эти две, не стесняющиеся своих тел, поглощенные своими спутанными мокрыми волосами. Он уже попался в силки, но не прочь

попасться еще раз. Это охота. Единственный вид охоты, в котором жертва хочет, чтобы на нее выскочили и набросились хищницы.

Горячие камни. Прозрачное море.

Медуз не видно. Сегодня они уплыли из океана. Куда? Я прижимаюсь щекой к белому галечнику. На мне нет ничего, кроме осколка стекла над бровью. А я больше не хочу задумываться, что обозначает одно или другое.

Горячий белый галечник греет мне живот, соленое море оставляет белые разводы на моей коричневой коже. Это рай, но счастья нет. Я — как эта собака, что раньше принадлежала Пабло. История — это темный колдун у нас внутри: так и норовит вырвать печень.

Целый день будет мною убит на Пляже Мертвых.

Позвонил Дэн из Денвера: говорит, заново побелил стены подсобки в «Кофе-хаусе». Можно подумать, этот пустяковый ремонт сделал его владельцем моей комнаты. Он напомнил, что под кроватью остались какие-то мои книги по антропологии. А куда девать мои туфли в мешке и зимнее пальто — и то, и другое висит на крючке за дверью? Это катастрофа. Подсобка служила мне квартирой. Жилище хоть и скромное, вре-

менное, но это мой дом. Я оставила свою метку на стенах, когда выписала цитату из Маргарет Мид и проставила все пять точек с запятой которые, между прочим, в текстовых сообщениях означают подмигивание.

«Я говорила своим студентам, что для постижения себя есть следующие способы: наблюдение за младенцами; наблюдение за животными; наблюдение за представителями первобытных культур; прохождение сеансов психоанализа; обращение к вере и преодоление оной; психотический эпизод и преодоление оного».

В тот вечер я столкнулась с Мэтью, который нес коробку с вещами из винтажного магазина. Он объяснил, что это работа для Ингрид, которую та возьмет на дом, когда будет уезжать в Берлин, и спросил, не хочу ли я что-нибудь ей передать. Можно было подумать, мне запрещено с ней общаться, кроме как через него.

Я стояла под беспощадным августовским солнцем, потная, в изнеможении.

Так есть ли у меня какое-нибудь сообщение для Ингрид?

Я заставила его подождать.

— Кстати, София, помнишь, вы с Инге сперли у меня из погреба бутылку вина? Это марочное ви-

но среднего уровня, стоимостью в триста фунтов. Так что половина — с тебя.

Руки у него были заняты коробкой, поэтому для выразительности он помахал в мою сторону носком белой матерчатой туфли на веревочной подошве.

Мой собственный смех показался мне чудовищным.

— Передай ей, что кобелек Пабло цел и невредим, бегает на свободе. Он отлично плавает, потому что у него морское прошлое.

— В каком смысле морское прошлое?

— В щенячьем возрасте его, очевидно, приохотили к плаванью.

— Ты безумная, Софи.

Еле удерживая коробку, Мэтью подошел ко мне и поцеловал в щечку. Я почувствовала, что тело его умнее, чем он сам: приятно было ощущать такое вплотную к себе. Я подставила вторую безумную щечку его безумным губам.

Одиннадцать вечера, и я опять лежу голая, но на сей раз с Хуаном.

Каждый из нас дрожит всем телом. Мы лежим на турецком ковре, в комнате, которую он снял на время сезонной работы в медпункте.

— София, — говорит он, — я знаю твой возраст,

знаю страну происхождения. Но твой род занятий мне по-прежнему неизвестен.

Мне нравится, как он в меня не влюблен. Мне нравится, как я не влюблена в него.

Мне нравится желтая мякоть двух мини-ананасов, купленных им на рынке.

Он целует меня в плечо. Он знает, что я читаю мейл от Александры.

Он просит меня читать вслух.

Сообщение написано по-гречески; придется переводить.

«Дорогая София,

Твоя сестра по тебе скучает. Одна знакомая сказала, что у меня две дочки. Я поправила: нет, одна, а она: нет, две. Она имела в виду тебя. Я считаю тебя сестрой, но вспоминаю, что на самом деле ты сестра моей дочки. Твой папа сказал мне, что после его смерти все наши деньги отойдут церкви. Я рассказываю это тебе как сестре. Хотя я тоже верующая, мне нужно поднимать дочку, которая приходится тебе сестрой. Ты должна знать, что работу в брюссельском банке я потеряла. Меня тревожит, что обе мои дочки (да, одна из них ты) и его жена (это я) будут принесены в жертву его богу, то есть мы потеряем и сбережения, и дом. Хочу также пожелать здоровья твоей настоящей матери, надеюсь, что с ногами у нее получше. Всего тебе доброго, София.

Александра»

Он просит меня прочесть то же самое на греческом.

— Вполне подходящий язык для такого мейла.

Он знает, где меня ласкать, чтобы я трепетала.

Мы обсуждаем Америку. Страну, которая предо-

ставила убежище антропологу Клоду Леви-Строссу, а также производителю джинсов Levi Strauss & Co., и, быть может, предоставит временное убежище и мне для завершения диссертации.

Если тема ее — память, то Хуан не понимает, с чего я начну такое исследование и чем закончу. Пока он извлекает у меня изо лба крошечную стеклянную занозу, я признаюсь, что часто теряюсь в различных темпоральных измерениях: что прошлое порой становится для меня ближе настоящего, а будущее страшит тем, что уже наступило.

Восстановление

Псевдодревнегреческая ваза, которую я расколошматила перед поездкой в Афины, по-прежнему лежит в черепках на столе в нашем пляжном домике. Все думаю: не попробовать ли ее склеить. Семь рабынь, пришедших за водой к фонтану, разбиты. Их рабские тела расчленены, головы надтреснуты. После длительного изучения решаю не восстанавливать их при помощи замазки и кисточки. Вместо этого я откупориваю бутылку вина и выпиваю ее на террасе.

— Воды, София. Только не холодной.

Я — рабыня и бражница.

Приношу маме воду, вскипяченную в чайнике и охлажденную при комнатной температуре, а не в холодильнике. И все равно вода неправильная. Мало-помалу я усваиваю, что у неправильного есть более приемлемые разновидности. С матерью я не разговариваю. Известие о том, что она требует ампутации, потрясло меня до глубины души. Она потеряла право на всякие беседы со мной, променяв слова на хирургический нож. Я не могу мириться с жестокостью ее намерений

или фантазий. Вообще — то я точно не знаю, какого рода реальность окружает меня в данный момент. Не знаю, что вообще реально. В этом смысле мои собственные ноги не очень-то твердо стоят на земле. Я утратила хватку. Мама отбросила, отринула, отодвинула, отклонила, оттолкнула, отвергла абсолютно все и потянула меня за собой вниз. Моя любовь к ней — как топор. Она выхватила ее у меня и грозится отрубить себе ноги.

Правда и то, что эта ее угроза отрубить себе конечности побудила меня к действию. До меня доходит, что сон — это привилегия счастливых. Ночами напролет я лежу без сна и составляю заявку на поступление в американскую аспирантуру для завершения диссертации. Хочу уехать от Розы как можно дальше. Минувшей ночью я барабанила по клавиатуре, и предложения приобретали какую-то форму на разбитой компьютерной странице под звездами пустыни. Я наблюдала, как восходит солнце. Оно скользит туда-обратно по всему небу, но на самом деле это Земля вращается вокруг солнца, наклоняясь и кружась.

Кружась вместе с ней, я нажимаю «отправить».

Опять мне приснилась девушка-гречанка. Мы с ней лежим на пляже, я кладу руку ей на грудь. И мы вместе засыпаем. Будит меня ее возглас: «СМОТРИ!» Она показывает отпечаток моей руки. Он белым узором выделяется на загорелой до черноты коже. Она говорит: я буду носить этот след клешни чудовища для устрашения врагов.

Испытание Гомеса

В кабинете Гомеса, под верветкой, на жестких деревянных стульях сидели топ-менеджер фармацевтической компании и инспектор департамента здравоохранения из Барселоны. Первого отличали худоба и благородная седина в коротко стриженных волосах. У его напарника, полноватого, с дряблыми щеками, были поредевшие черные волосы, приклеенные бальзамом к скальпу, и маленький мокрый рот.

Сухощавый топ-менеджер ерзал на стуле и держал в правой руке мяч для гольфа, то постукивая по нему большим пальцем, то подбрасывал невысоко в воздух, чтобы тут же поймать. Гомес возвышался перед своим письменным столом, на который опиралась Джульетта, скрестив ноги под белым, на вид новехоньким халатом. Моя мать царственно восседала в кресле-каталке, а я стояла рядом.

Гомес сделал жест в сторону мужчин.

— Разрешите, пожалуйста, представить: мистер Джеймс из Лос-Анджелеса. — Он указал на сухощавого человека с благородной сединой. — И

сеньор Коваррубиас из Барселоны.

Затем он махнул рукой в сторону моей матери.

— Это моя пациентка, миссис Папастергиадис, и ее дочь, София-Ирина.

Пухлый инспектор игриво улыбнулся моей маме.

— Надеюсь, сегодня вам комфортно, — сказал он.

— Всегда приятно выйти на люди, — ответила она.

Мистер Джеймс снова подбросил и поймал мяч для гольфа.

— Итак, прошу вас. Чем могу служить? — Гомес изъяснялся вежливо, но отрывисто.

Мистер Джеймс из Лос-Анджелеса наклонился вперед и попытался поймать мамин взгляд. Первой трудностью, с которой он столкнулся, оказалась ее фамилия. У него с языка слетало, строго говоря, нечто очень мало похожее на фамилию той, к кому он обращался.

— Насколько я понимаю, вас госпитализировали на двое суток. Что вы можете сообщить по этому поводу?

— У меня было обезвоживание, — торжественно объявила Роза.

— Совершенно верно. — Гомес сложил на груди

свои тонко-полосатые руки. — После чего водный баланс был нормализован за счет внутривенного введения физиологического раствора. В клинике Гомеса это более или менее рутинная процедура. Справедливо, что у вас вызвал обеспокоенность водный баланс. Моя пациентка с трудом глотает воду, а следовательно, не может с легкостью принимать лекарственные препараты.

Мистер Джеймс покивал и обратился к Розе.

— Но вам, если не ошибаюсь, отменили все назначения?

— Я вернулась к прежней схеме. В больнице Альмерии доктор тоже проявил обеспокоенность моим состоянием.

Джульетта сделала шаг вперед.

— Доброе утро, джентльмены. — Она покосилась на отца.

Гомес кивнул, как будто принял секретное сообщение. Отец с дочерью были сосредоточенны и взвинчены.

— Курс лечения еще не завершен, — сказала Джульетта. — Он будет продолжаться. У нас много работы. Мы хотели бы поскорее закончить это совещание и поговорить с миссис Папастергиадис в частном порядке.

— Курс лечения завершен, — сказала моя

мать. — Он не будет продолжаться. Я записалась на прием к лондонскому специалисту.

Сеньор Коваррубиас теребил галстук. По-английски он говорил превосходно и без труда произносил мамину фамилию. Он попросил Розу перечислить текущие назначения, что она и сделала во всех подробностях, пока мистер Джеймс, держа в руках папку-планшет с зажимом, ставил галочки в своем вопроснике.

Когда Роза попросила его прокомментировать одно из новых лекарств, мистер Джеймс проявил убежденность и даже, пожалуй, взволнованность. Он стал нашептывать, что врач из больницы в Альмерии — его коллега и назначенные им таблетки устраняют негативную внутреннюю речь, которая может пагубно влиять на пациента.

— Какую именно речь? — Чтобы лучше слышать, Роза подалась вперед.

— Самообвинения, саморазоблачения. — Мистер Джеймс, видимо, давал понять, что есть и другие примеры, но для начала хватит и этих двух.

— И таблетки устраняют эти явления?

— Приглушают, — сказал он.

— Приглушают, — повторила Роза.

— По-моему, стандартно говорится «притупля-

ют». — Судя по всему, сеньору Коваррубиасу не терпелось вернуться к беседе с моей матерью. В кармане у него вибрировал телефон.

— Прежде всего, хочу спросить, — начал инспектор, — предъявил ли вам консультант на каком-либо этапе план-график, отражающий ход лечения и достигнутые результаты?

— Плана-графика как такового я не видела, — ответила Роза.

— Извините, что отнимаю у вас время, миссис Папастергиадис, но, мне кажется, цели у нас общие. Мы хотим установить, помогло ли лечение на данный момент улучшить качество вашей жизни.

Роза растерялась. Вопрос застал ее врасплох. Она побледнела, плечи затряслись. Сидела она неподвижно, в молчаливой задумчивости. Потом подняла руку и, обернувшись ко мне, зашевелила пальцами. Уж не знаю, что она хотела выразить, но эта сценка напомнила мне девочку в разрушенном доме близ аэропорта, махавшую ложкой автомобилю. Очевидно, это значило «убирайся».

Или «привет». Или «на помощь».

— Не могли бы вы повторить вопрос?

Тут вмешалась Джульетта Гомес.

— Вы не обязаны отвечать, Роза. Это ваш вы-

бор.

Роза заглянула в добрые чистые глаза Джульетты.

— Ну, по утрам встаю с постели. Одеваюсь. Причесываюсь.

Мужчины в костюмах ставили галочки в своих вопросниках.

— В детстве я каждый день пробегала не одну милю. Лазала через забор, перепрыгивала через канавы. Знала, как делается свисток из травинки. А теперь я старый несчастный одёр.

Сеньор Коваррубиас оторвался от конторской доски:

— Одёр?

— Это старинное название лошади, — объяснила Роза.

Мистер Джеймс перехватил инициативу у своего напарника.

— Сегодня мы организовали это совещание, не будучи уверены, что вы в надежных руках.

Гомес откашлялся.

— Учтите, пожалуйста, джентльмены, что моя пациентка обследовалась на предмет острого нарушения мозгового кровообращения, повреждения спинного мозга, сдавления нерва, ущемления нерва, рассеянного склероза, мы-

шечной дистрофии, бокового амиотрофического склероза и спинального артрита. Результаты последней эндоскопии еще не получены.

Слушая Гомеса, мистер Джеймс нервно крутил в руке мяч для гольфа и хмурился, будто слушая иноязычную речь. Собственно, так и было, поскольку Гомес говорил по-английски в Испании, хотя мистер Джеймс, уроженец Южной Калифорнии, свободно владел испанским.

При следующем подбросе мяч ударился о полку над головой мистера Джеймса.

Раздался тишайший звук разбивающегося стекла, даже не звяканье, а короткий, чистый треск. Проверяющие вздрогнули. Они повернулись и увидели обезьянку с белой опушкой вокруг головы, суровыми, грозными бровями и высоко поднятым длинным хвостом. Казалось, она вот-вот запищит-зачирикает «кек-кек-кек-кек».

— Прошу прощения, — сказал мистер Джеймс. — Я не знал, что там кто-то есть.

С моего места создавалось впечатление, что убитая током обезьянка парит у них над головами. Мертвые блестящие глазки уставились на высокопоставленных визитеров из Европы и Северной Америки. Это были новые Великие Белые Охотники, сопровождаемые свитой носильщи-

ков, проводников, охранников и оруженосцев, порабощавшие туземцев и готовые на убийство ради добычи слоновой кости[10]. Слоновой костью оказалась моя мать. Мистер Джеймс даже не мог произнести ее фамилию, а она тем не менее заключила с ним бартер и поменяла свои ноги на его антидепрессанты. Он застолбил землю.

Сеньор Коваррубиас наклонился вперед.

— А вы, София, не хотите поделиться с нами какими-нибудь тревогами?

Единственным звуком, нарушавшим тишину кабинета, было тиканье маминых гангстерских часов, которые поблескивали кольцом фальшивых бриллиантов на ее тонком запястье.

— Я не знаю, жива или мертва моя мать, — сказала я.

Джульетта уставилась в стену, как будто не замечала моего присутствия.

— Прошу вас, продолжайте, София. Вы не обязаны использовать научную лексику. — Мистер Джеймс ободряюще улыбнулся.

Роза даже ударилась затылком о подголовник кресла.

— Научная лексика — не проблема для моей

[10] Примечания: 10

Аллюзия на фильм Клинта Иствуда «Белый охотник, черное сердце» (1995).

дочери. У нее диплом с отличием.

Повернувшись ко мне, она заговорила по-гречески. Впервые за очень долгое время. Мать учила меня греческому с трех лет. Дома мы редко говорили на этом языке — видимо, в отместку отцу. Я изрядно потрудилась, чтобы стереть из памяти целый язык, а он все не умолкал. Я хотела его заткнуть, а он, после того как отец ушел из семейного дома, ежедневно заводил со мной разговоры. Как ни странно, Роза перешла на греческий, чтобы рассказать анекдот, построенный на стереотипном представлении об уроженце Йоркшира. И лишь одну фразу она произнесла по-английски: «Уиппета у меня тоже нет».

Я улыбнулась, а она расхохоталась. Джульетта посмотрела на нас с мученическим видом. Не иначе как редкое проявление единодушия между матерью и дочерью, которое ей выдалось наблюдать, воскресило ее покойную маму и незримо перенесло ее в этот кабинет. Мы с Розой выглядели куда счастливее, чем на самом деле. Только я заговорила свободно, как она прервала меня своей шуткой. Стукнула кулаком, настаивая, что никаких проблем у меня нет, и превратила это в комплимент.

Тем не менее мистер Джеймс, похоже, смутился

и поник. Нас повело куда-то не туда. Возникла заминка, запинка, задержка. Роза, даром что сидела в инвалидной коляске, прошлась по алфавиту и, помедлив на пустынных просторах между альфой и омегой, выдала такие слова, как «одёр» и «уиппет». Они не вписывались в историю, которую мистер Джеймс сочинял при помощи своего вопросника, лежавшего — под видом истины в последней инстанции — у него на коленях.

Заслонив рот ладонью, он прошептал что-то сеньору Коваррубиасу, который покивал и нащупал в кармане телефон. Мне было видно, что он получил семьдесят три сообщения по электронной почте и тут же взялся их просматривать, не забывая ставить шариковой ручкой галочки и кружки в своем вопроснике.

— Клиника Гомеса дает мне надежду.

У меня дрогнул голос, но я, кажется, сказала то, что хотела. Гомес тотчас же меня перебил и заговорил с проверяющими по-испански. Разговор получился долгим. Время от времени в него вклинивалась Джульетта. Высказывалась она деловитым, даже резким тоном, но я заметила ее эмоциональный накал. Левой рукой она постоянно дотрагивалась до шеи. Когда она повысила голос, отец погрозил ей пальцем.

Сверху на всех нас взирала убитая током верветка.

Мистер Джеймс встал.

— Приятно было с вами познакомиться. — Он склонил голову с благородной сединой в направлении непослушных ног моей матери.

А сеньор Коваррубиас поцеловал ей руку. У него был слегка приплюснутый нос, как после драки.

— *Profunda tristeza*[11], — сказал он глубоким, усталым голосом.

Пошарив пухлыми пальцами в кармане, он с новой энергией достал ключи от машины, как будто сгорал от желания побежать к своему белому лимузину, припаркованному на территории клиники, и с нарушениями скоростного режима умчаться в Барселону.

После отъезда комиссии Гомес попросил меня выйти из кабинета.

— Я должен поговорить со своей пациенткой наедине, — сказал он.

Скрюченный артритом палец Розы погрозил суровому, неулыбчивому врачу.

— Мистер Гомес, стеклянный футляр вашего чучела примата разбился почти над самой головой

---

[11] Примечания: 11
Глубокая печаль *(исп.).*

моей дочери. У нее над бровью в кожу впилась тонкая стеклянная заноза. Впредь потрудитесь накрывать футляр тканью.

Когда я шла к двери, мне показалось, что у мамы внутри выключили свет. И одновременно с этим я заметила, что к Розе вернулась красота. Ее скулы, мягкая кожа… она вдруг сделалась яркой, как будто вновь стала собой.

Исчезающий диван

Повсюду тишина. Повсюду спокойствие.

Восходит солнце.

В небо поднимаются клубы черного дыма. Где-то вдалеке произошел взрыв.

По совету Гомеса я отправилась с рюкзаком в горы, где отдалась суровому пейзажу, открыла его детали, идеальные формы мелких суккулентов, растущих между камнями, их блестящую кожицу, геометрию и сочность. В рюкзаке лежала бутылка воды, на голове плотно сидели наушники — я слушала оперу Филиппа Гласса «Эхнатон»[12]. Мне хотелось великой музыки, которая огнем выжигала бы мои случайные страхи, заползавшие под кожу. Под кроссовками шны-

---

[12] Примечания: 12

Филипп Гласс (род. 1937) — американский композитор, представитель одного из авангардных течений, так называемого «минимализма». Испытал также сильное влияние индийской музыки. Ряд его опер пользуется большой популярностью. Так, опера «Эйнштейн на пляже» (1976) — одно из немногих американских сочинений, поставленных в Метрополитен-опере. Среди других: «Сатьяграха» (1980, Роттердам, о жизни М. Ганди), «Эхнатон» (1984, Штутгарт, либретто автора), премьера которой стала крупным событием музыкальной жизни 80-х годов (в центре сюжета образ фараона Эхнатона, отказавшегося во имя любви к Нефертити от полигамии и построившего город в честь своего нового бога Атона).

ряли ящерицы, а я уходила подальше от черного дыма, в иссохшую долину, где виднелось что-то вроде руин древней арабской крепости. Примерно через час пути я остановилась там на привал и стала высматривать тропу, которая привела бы меня назад, к пляжу.

Вдалеке поджидала она.

Ингрид в шлеме и высоких сапогах сидела верхом на жеребце андалузской породы. В головокружительной небесной высоте, расправив крылья, над андалузцем парил орел. В наушниках гремело безумство музыки, а она подняла жеребца в галоп и помчалась в мою сторону. Мускулистые руки, длинные волосы, заплетенные в косу, бедра, стиснувшие жеребца, — и сверканье моря у подножья гор.

Вначале я наблюдала отстраненно, как из окна поезда, откуда виден исчезающий пейзаж, но по мере ее приближения отметила, как стремительно она летит. Я знала, что Ингрид, поступает ли она рисково или расчетливо, все делает в полную силу. Просто не все у нее хорошо кончается. Она обезглавила родную сестру, а теперь нацелилась на меня.

Я рухнула ничком, как подкошенная, и накрыла голову руками. Кровь темной рекой билась и

пульсировала во всем теле; в ушах отдавался стук копыт. Солнце закрыла тень — это через меня перепрыгнул андалузец. Меня обдало его яростным, диким жаром, а сердце молотом застучало в нагретую землю.

Ингрид, высоко сидящая на своем королевском жеребце, слилась с небом. Мои наушники и айпод комом застряли среди раскаленных солнцем камней и чертополоха, но музыка не смолкала. Ее мощь и размах превратились в капель жестяных звуков, сливавшихся с громким ржанием андалузца и робкими криками невидимых обитателей пустыни.

— Зоффи, что ты разлеглась на земле, как ковбой?

Ингрид натягивала поводья. Тут я поняла, что остановилась она довольно далеко. А я-то с перепугу рухнула в пыль и колючки, но наушники сорвала с головы сама.

— Неужели ты подумала, что я действительно через тебя перепрыгну?

Я смотрела в вековечные черно-стеклянные глаза андалузца, а Ингрид кричала поверх его головы:

— По-твоему, я убийца, Зоффи?

А ведь я и вправду подумала, что она перелома-

ет мне кости, гарцуя на жеребце Леонардо.

Должно быть, при падении я ободрала коленки, потому что, поднявшись на ноги, увидела дыры на джинсах.

Через колючки и камни я похромала к жеребцу.

— Совсем крест на мне поставила, Зоффи?

— Нет.

— Тогда давай сюда рубаху.

Привстав на цыпочки, я стащила через голову мокрую от пота рубашку и повесила ее на вытянутую руку Ингрид.

Солнце сразу обожгло мне плечи.

— Зачем тебе моя рубашка?

Ингрид удержала меня за руку и привлекла к себе.

— Я сделала тебе подарок, но ты мне ничем не ответила. А вышивать по шелку очень трудно. Сплошное мучение. Материя ускользает. Твое имя вышито нитью «августовская голубая».

Управляясь с поводьями, она не отпускала и мою руку, словно беспокоилась, как бы я тоже не ускользнула.

Я нарушила правила обмена. Она дала, я взяла, но не отдарила.

Такой подарок, как любовь, бесплатным не

бывает.

«Августовская голубая».

Голубой — это мой страх оскудения, падения и наваждения; голубой — это еще и августовский небосвод в Альмерии. У Ингрид шлем сполз на глаза. Голубой — это еще цвет ее слез и жажды жить сразу во всех измерениях между забвением и запоминанием.

Отпустив мою руку, она дала андалузцу шенкеля.

Я смотрела, как она поправляет шлем и скрывается в облаке пыли, прижав седлом мою рубашку. А потом я надела извлеченные из колючек наушники, достала бутылку почти горячей воды и выпила залпом.

Под полуденным солнцем начался мой долгий путь домой: в лифчике и разодранных джинсах, в пропотевших кроссовках, с айподом в заднем кармане, в наушниках, снова прилипших к ушам. Глядя на раскинувшееся внизу море с медузами, которые плавают столь причудливым способом, я ощущала полноту жизни.

Под крики птиц пустыни я подумала, что на такой дар, как запретное влечение ко мне Ингрид, едва ли смогу когда-нибудь ответить своим подарком. Даже отдав последнюю рубаху.

Я влюблена в Ингрид Бауэр, а она влюблена в меня.

Любить такую, как она, небезопасно, но я готова рискнуть.

Да, одни вещи ширятся, другие ужимаются. Любовь ширится и становится опаснее. Гаджеты ужимаются; человеческое тело ширится, и мои джинсы с заниженной талией впиваются мне в бедра, которые стали округлыми и бронзовыми после месяца ежедневного плаванья, но почему-то нависают сверху над поясом, не рассчитанным на бедра. Я вытекаю через край, словно кофе из бумажного стаканчика. Может, попробовать все-таки ужаться? А достаточно ли места на Земле, чтобы меня стало меньше?

Клубы черного дыма растаяли в небе.

Спустившись, наконец, по горной тропе, ведущей к пляжу, я ушла от себя далеко, как никогда прежде, далеко-далеко от всех узнаваемых примет.

Плоть, жажда, страсть, пыль, кровь, растрескавшиеся губы, стертые пятки, ободранные колени, синяки на бедрах, — все это была я, но какое счастье, что я не присела на диван и не укрылась одеялом, чтобы подремать с престарелым мужчиной под боком и с младенцем на коленях.

Выход на прогулку

Еще на подходе к пляжу я увидела лодку, возвращавшуюся на веслах к берегу. Лодка эта, под названием «Анхелита», хранилась в саду перед домом с аркой пустынного жасмина. Мускулистый сын рыбака повязал кожаный шейный шнурок себе на правый бицепс и направлялся домой с уловом — двумя блестящими, серебряными меч-рыбами. Почти метровой величины, да еще с длинными мечами, они покоились на дне лодки, как воины. Двое братьев паренька зашли в воду, чтобы помочь ему вытащить лодку на берег, но она оказалась слишком тяжелой, и они запросили помощи. Как была, в джинсах и лифчике, я бросила рюкзак на песок и присоединилась к ним, перехватила веревку и стала тянуть лодку на сушу. Сын рыбака достал тяжелый тесак и принялся отрезать меч. Лишив голубоглазую серебряную рыбину меча, он запустил его, как матадор запускает ухо быка, в толпу зрителей. Меч упал к моим ногам, и тут я вспомнила, как мама требовала отсечь ей ступни хирургическим ножом.

Я зашла в воду до пупка (это самый первый человеческий шрам) и поймала себя на том, что плачу. Матери в конце концов удалось меня сломать. Опустившись на колени в море, я закрыла лицо ладонями, как поступала в детстве, когда хотела, чтобы никто меня не видел. Ни одна живая душа. Мне хотелось стать невидимой и непонятой. А надумай кто-нибудь поинтересоваться, я бы не знала, с чего начать и чем закончить. Прошло немного времени; я повернулась, чтобы вглядеться в расщелину между двумя скалами, и вдруг увидела ее.

Я увидела Ее.

Вдоль пляжа шла женщина шестидесяти четырех лет, в платье с подсолнухами на юбке. В левой руке она держала шляпу. Да, это была она — и она шла. Я подумала, что в пустыне я перегрелась на солнце и теперь мне мерещится — то ли это галлюцинация, то ли видение, а может, давнее желание. Она не замечала никого вокруг, а меня просто не видела. Я собралась побежать за ней, за моей мамой, броситься ей на шею, но вид у нее был такой, словно на этой прогулке по пляжу ее вполне устраивало собственное общество. В ней сквозила решимость той, которая мысленно борется с чем-то невероятным, тянется к тому,

чего не может ухватить. Чтобы остаться незамеченной, у меня был единственный путь — назад в море. Я вновь зашлепала по воде, пустилась вплавь и на этот раз заплыла далеко, спиной к ее бойким ногам. Когда же я все-таки обернулась, Роза Папастергиадис прогуливалась как прежде. Женщина на грани преклонного возраста, в милом платье и шляпке, гуляла босиком по пляжу.

Она направилась к низкому душу на деревянном пандусе, где отдыхающие ополаскивали ноги от песка. Вот и она пришла туда с той же целью. Ополоснуть под душем ноги, не отсеченные от тела. Я оставалась в воде до заката, а когда поплыла к берегу, вода кишела медузами. Я плыла в джинсах и все время видела вокруг себя скопище медуз, плотное месиво. Опустив лицо в воду и рассекая студенистую толщу руками, я прокладывала себе путь через Средиземное море. Меня жалили в живот, в грудь, но это было не самое страшное, что случалось со мной в этой жизни. Выбравшись из моря, я отыскала на песке мамины следы. Вот здесь и здесь. Нашла палку и обвела прямоугольником первые два отпечатка, оставленные и сохраненные в Альмерии, что на юге Испании. Здесь была Роза Папастергиадис.

Большие пальцы оттопырены, ступни удли-

ненные, ведь она и сама рослая, где-то за метр восемьдесят; существо она двуногое; по всем признакам, шла неспешно. В этих следах была записана вся ее подноготная: первая девушка среди всей родни, поступившая в университет, первой вышла за иностранца и отправилась через холодный, серый Ла-Манш к лучезарным и теплым водам Эгейского моря; первой взялась учить незнакомый алфавит; первой отвернулась от бога, которому молилась ее мать, и первой родила малышку столь же темненькую, сколь сама была светловолосой, столь же приземистую, сколь сама была рослой; первой поднимала ребенка одна. И вот она здесь: шестидесяти четырех лет от роду, ополаскивает ступни от песка. Прилив смоет следы этих ног, что успели отпечататься на мокром, твердом песке, пока ими не занялся хирург.

Я боюсь ее и боюсь за нее.

Вдруг она не шутила насчет ампутации? Если она и в самом деле на это решится, если отсечет ноги, как я сохраню ее в здравом уме и твердой памяти? Как мне ее защитить и как защитить себя от нее? Со дня своего появления на свет я наблюдаю за Розой Папастергиадис и старательно прячу свои тревоги.

Вечно ты где-то далеко, София.
Нет. Я всегда слишком близко.

Я не должна смотреть на ее поражение с высоты всего, что мне известно, дабы не превратить ее в камень своим презрением и своей печалью.

Близился прилив. На пляже я увидела девчушку, которая что ни день лежит на берегу, позволяя своим сестрам закапывать себя в песок и выкладывать поверх ног русалочий хвост. Ноги заменялись обрубком. Я подошла, запустила пальцы в песок, нащупала детские запястья и с огромным усилием вытащила девочку из песчаной могилы. Сестры с воплями побежали к матери, сидевшей в отдалении на шезлонге. Выбросив недокуренную сигарету, она подбежала ко мне и разразилась бранью; на шее из стороны в сторону болталась массивная золотая цепь. Я бросилась наутек, быстро-быстро, быстрее ящерицы, шмыгнувшей в расщелину, и остановилась только у медпункта.

На самом верху шеста развевался желтый флаг с медузой. Хуан сообщил, что местные власти крайне встревожены оттоком туристов. Сейчас усиленно разрабатывается новая стратегия, «План „медуза“: купальщикам советуют „остерегаться ужаленья на мелководье“». Хуан посмеялся

и надкусил сочное красное яблоко.

— Известно ли тебе, — начал он, отходя от меня подальше, — что увеличение популяции медуз связано с сокращением числа хищников, таких, как черепахи и тунцы, а также с глобальными колебаниями температуры и с количеством осадков.

Он расхаживал в шлепанцах туда-сюда. От него пахло морем. Борода блестела. Стройный, загорелый, он наслаждался вкусом свежего хрусткого яблока. Оказавшись возле меня, он убрал с моего лица несколько кудряшек, лезших мне в глаза. Его пальцы были мокры от сока. Он заговорил со мной по-испански.

— С виду я мягче тебя, а ты с виду жестче меня. Ты согласна, София?

Матереубийство

Моя мать, одетая в платье с подсолнухами, сидит на стуле, уставившись в стену. На ногах тапки, на полу валяется соломенная шляпа, будто сброшенная в гневе.

— Это ты?

— Да, это я.

Жду, когда же она сообщит мне радостную весть.

Ее взгляд намертво вперился в стену.

Можно подумать, ноги вступили с ней в заговор, вечно шепчутся, интригуют. Она надела тапки, чтобы спрятать от меня ожившие ноги.

— София, воды!

Agua con gas, agua sin gas. Какую выбрать?

Я открыла холодильник и прижалась щекой к дверце.

Мать меня предала. Все эти годы я ни на минуту не теряла надежды на ее выздоровление, а она теперь лишает меня этой надежды. Я налила стакан не той воды и подумала, что мама, вероятно, нагуляла аппетит. Выбрав мягкий банан, я растерла его с молоком, чтобы она набралась сил

для новой прогулки. И для следующей. И для следующей. Она приняла у меня тарелку, как могла бы это сделать настоящая мученица, страдающая от присутствия в мире неизбывного зла. Глаза долу. Губы поджаты. Руки бессильны.

Она проголодалась.

— У тебя солнечные ожоги и все тело в песке, — сказала она.

— Да, день выдался отличный. Просто изумительный. А ты что поделывала?

— Ничего. Как всегда, ничего. А чем мне заниматься?

— Ну, если тебе скучно, можешь отрезать себе ноги. — Я вытряхивала смешанный с водорослями песок из спутанных мокрых волос.

И тут она на меня напустилась. Это был гимн насилию, и она пропела его злобным, но голосистым соловьем.

Волосы у меня нечесаные и вызывают отвращение. Я пустила на ветер свои задатки. У меня эмоции через край, зато мать проявляет сдержанность и стоицизм.

В ее голубых глазах стояло скорбное потрясение.

Я схватила ее за руку, чтобы успокоить. Рука оказалась бумажной и бесчувственной.

Роза сказала, что боится отходить ко сну.

Высвободив руку, она сорвалась на крик. Впечатление было такое, будто в лужу бензина по небрежности уронили спичку. Мама не знала удержу: она оскорбляла всех и вся. Дыхание участилось, щеки раскраснелись, визгливый голос дрожал. Как выглядит ярость? Как непослушные ноги моей матери.

Бочком прокравшись в ванную комнату, я все еще слышала, как из матери хлещет ненависть. Она казнила меня электрическим током своих слов: она была опорой линии электропередачи, а я — верветкой, рухнувшей оземь, трясущейся, но еще живой.

Залезла я под душ и почувствовала, как под теплыми струями пульсируют укусы медуз. Они побуждали меня сотворить что-нибудь чудовищное, но что именно, я не знала. Вся в солнечных ожогах, волдырях и синяках, я готовилась. Расчесала волосы, подкрасила глаза, дополнительно навела стрелки. Сама не знаю, для чего я прихорашивалась, но для чего-то значительного. Меня преследовал вид Ингрид верхом. Она подсказала мне мысль, которая, вероятно, и без того зрела у меня в голове. Тут раздался крик Розы: она требовала добавить молока в банановое пюре.

— Сейчас, сейчас.

Войдя в гостиную, я осторожно приняла тарелку из ее лживых, мошеннических рук (но не таких агрессивных, как ее губы) и подлила молока. На этот раз сверху добавила еще меда.

— Давай хотя бы покатаю тебя на машине, — предложила я.

К моему удивлению, она согласилась.

— Куда поедем?

— В сторону Родалквилара.

— Отлично. А то я целый день в четырех стенах.

После прогулки она с большим аппетитом отправляла в тонкогубый рот банановое пюре.

Толкать кресло-каталку до машины было не близко. В субботний вечер на деревенских улицах гуляла масса семей с детьми. Наверное, мы с ней — тоже семья. Ворочать тяжести не составляло для меня проблемы. Да я бы, в своей новой чудовищной ярости, над головой пронесла это кресло. Моя мать решила и впредь держать дочку в подвешенном состоянии между надеждой и отчаянием, где ей самое место.

В конце концов, когда я усадила ее в «Берлинго» и попыталась вспомнить, как снимать машину с ручника, мама отказалась пристегиваться.

— Буду считать это признаком доверия.

— По-твоему, София, на пути в Родалквилар нас могут тормознуть?

— Вряд ли.

Чтобы срезать путь до шоссе, я поехала по разбитой горной дороге. Было тепло. Мама опустила окно, чтобы полюбоваться темнеющим небом. Вдоль дороги потянулись развалины с вывесками «Продается» на ржавых столбиках, загнанных в твердый грунт. У тех развалин кто-то вырастил сад. Высокий цветущий кактус клонился под тяжестью плодов: колючие желтые груши уродились на славу. Дорога была опасной из-за рытвин, камней и оседающей на лобовое стекло пыли.

На новое шоссе я выезжала вслепую, не сбрасывая скорость.

— Воды, София, пить хочу.

Я свернула на бензоколонку и побежала в магазинчик за водой для Розы. На прилавке, рядом с россыпью брелоков, одинокой бутылкой терпкого деревенского вина и глиняной копилкой-свиньей лежала стопка порнофильмов.

Когда я снова вырулила на шоссе, приборная доска сообщила время — двадцать часов пять минут, температуру воздуха — двадцать пять градусов по Цельсию и мою скорость — сто двадцать

километров в час. В пустыне высилось заброшенное колесо обозрения, похожее на разинутый в последнем вульгарном смехе рот.

Я заехала в «карман» и предложила:

— Давай посмотрим закат.

Смотреть было не на что, но Роза вроде как этого не заметила.

Из багажника было извлечено кресло-каталка, затем последовали пятнадцать минут поднятия тяжестей. Опираясь сначала на мою руку, потом на плечо, Роза взгромоздилась в кресло.

— Чего ты ждешь, София?

— Хочу отдышаться.

Издали в нашу сторону ехал белый грузовик с ящиками помидоров, выращенных под пластиком на раскаленных пустынных фермах с использованием рабского труда.

Я вывезла мать на середину шоссе и оставила там.

Купол

В темноте мраморный купол клиники Гомеса, подсвеченный откуда-то из зарослей суккулентов, напоминал призрачную одинокую женскую грудь. Молочного цвета, с прожилками — этакий материнский маяк среди лилового моря кермека. Ночная грудь под яркими звездами, безмятежная, но зловещая. Если это был маяк, какие знаки подавал он мне, запаниковавшей, трясущейся посреди пустыни? Назначение маяка — показывать нам, как обойти зону риска и добраться до тихой гавани. Но мне давно казалось, что на протяжении, считай, всей моей сознательной жизни зоной риска оставалась для меня мать.

Стеклянные двери купола бесшумно открылись, и я вошла в это мраморное чрево, не понимая, зачем я здесь и чего ищу. К колонне прислонился спиной ко мне молодой врач, который набирал номер на мобильном телефоне. Освещение было тусклым, сумеречным. Я направилась в кабинет Гомеса, даже не подумав, сидит ли в такое время консультант на рабочем месте и, если он действительно там, как мне держаться,

но больше идти было некуда. Я постучалась в дубовую дверь. Стук получился глубоким и гулким, не то что по мрамору, на котором все упавшее разбивалось вдребезги. Мне никто не ответил; я толкнула тяжелую дверь плечом, и она отворилась. В кабинете никого не оказалось. Компьютер был выключен, жалюзи опущены, кресло Гомеса пустовало. И все же здесь чувствовалось постороннее присутствие. В воздухе висел темный, нутряной запах не то крови, не то печени. Я посмотрела под ноги. В дальнем углу кабинета на животе лежал Гомес, уставившийся в какую-то картонную коробку. Я видела подошвы его штиблет и очки, сдвинутые на серебристое темя. Он повернул голову, чтобы посмотреть, кто к нему пожаловал, и, завидев меня, похоже, удивился. Приложив палец к губам, он жестом поманил меня к себе. Я на цыпочках дошла до коробки и опустилась на колени рядом с Гомесом. Кошка Джодо принесла котят. Три мокрых сморщенных комочка пристроились к материнским соскам. Кошка, растянувшись на боку, время от времени принималась слизывать со своих детенышей кровяные сгустки.

Гомес придвинулся к моему уху.

— Видите, у них еще не прорезались глазки.

Слепые котята находят мать по запаху. Каждый уже облюбовал для себя сосок и толкает маму лапками, стимулируя выделение молока.

Джодо встревоженно посмотрела на Гомеса, когда тот легонько, одним пальцем почесал ей за ухом.

— Она облизывает вот этого и тем самым его согревает. Видите, он самый мелкий из помета. Облизывая слабого, она передает ему свой запах.

Я сказала, что мне срочно нужно с ним переговорить. Прямо сейчас.

Он помотал головой.

— Сейчас не время. Я принимаю только по записи, София. А кроме того, ваш громкий голос пугает моих питомцев.

Я разрыдалась.

— Кажется, я убила маму.

Он почесывал Джодо. Но при этих словах палец его замер.

— Каким же образом?

— Оставила ее на дороге. А она не ходит. Докторский палец возобновил поглаживание белой шерстки.

— Откуда вы знаете, что она не может ходить?

— Может. Но не ходит.

— Как это понимать?

— Она не может ходить быстро.

— С чего вы взяли, что она не может ходить быстро? Ваша мать — еще не старая женщина.

— Нужно быстрее.

— Но ходить-то она может?

— Не знаю. Не знаю.

— Если вы оставили ее посреди дороги, значит, вам известно, что она может ходить.

Мы перешептывались над котятами, которые сосали и брыкались, лизали и толкались.

— Ваша мать встанет и отойдет на обочину.

— А вдруг грузовик не затормозит?

— Какой грузовик?

— На нас издали двигался грузовик.

— Издали?

— Да. Но он приближался.

— Однако был еще далеко?

— Да.

— Значит, она успела отойти.

На котят капали мои слезы.

Гомес отстранил меня от коробки.

Обхватив руками колени, я сидела на полу.

— Что происходит с моей матерью?

— Джодо из-за вас нервничает.

Он помог мне подняться и без промедления вывел из кабинета.

— Ваши затраты я возместил. А теперь мне нужно закончить полив сада и позаботиться о животных. — Он посмотрел на часы. — Но у меня встречный вопрос. Что происходит лично с вами?

— Я не знаю, жива или мертва моя мать, — сказала я.

— Понимаю. Этого боятся все дети скорбящих матерей. И каждый день задаются этим вопросом. Почему она мертвая, если жива? Вы оставили мать посреди дороги. Вероятно, она примет ваш вызов и спасет себе жизнь. Но это ее жизнь. Ее ноги. Захочет жить — отойдет от опасного места. Но вы должны принять любое материнское решение.

Мне и в голову не приходило, что она может не захотеть жить.

— Ваше смятение точно просчитано, — сказал Гомес. — Неведение служит вам укрытием. Я уже говорил вам, что более не заинтересован в проблеме ходьбы. Учтите это, пожалуйста.

Деревенский шаман. Он укажет мне путь.

— Перед возвращением домой вам надо взбежать на шесть лестничных маршей, — посоветовал он.

От Гомеса толку нет. Он ничего не смыслит.

«Взбежать на шесть лестничных маршей». Такого рода советы давала моя бабушка, когда хотела от меня избавиться.

— Оплакивать своих мертвецов необходимо, но нельзя допускать, чтобы они забирали нашу жизнь.

Больше я ничего не услышала. Вернувшись в кабинет, он затворил за собой дверь. Это походило на последнее «прости». Он как будто говорил: дело сделано. Гомес совершил камлание и проник со своими ритуальными танцами в недужный мозг, а потом с помощью своей дочери запустил механизм исцеления, только я уже не знала, чей мозг оказался недужным: мамин или мой собственный.

Диагноз

Роза стояла у окна нашего пляжного домика и смотрела на серебристое море. Пляж был относительно пуст. На песке, хохоча под ночными звездами, валялись босые ребята.

Моя мать чересчур высока ростом.

— Добрый вечер, Фия. — В ее голосе — покой и опасность.

Я села и наблюдала за ней, оставшейся стоять. Она возвышалась надо мной, как башня. Любопытно было видеть маму в вертикальном положении. Как нечто несвернутое. В моем нынешнем состоянии она мнилась мне призраком. Будто умерла и вернулась какой-то другой. Рослой женщиной, энергичной и сосредоточенной, чье основное внимание уделяется отнюдь не выколупыванию таблеток из упаковки. Много лет назад мама сказала мне, что «Млечный Путь» пишется γαλαξίας κύκλος и что Аристотель наблюдал этот молочный круг в Халкидиках, откуда тридцать четыре мили до нынешнего города Салоники, где родился мой отец. Но при этом она ни разу не завела речь о тех звездах, на

которые семилетней девочкой смотрела сама в деревне Уортер, что в Восточном Йоркшире, в четырех милях от Поклингтона. Случалось ли ей лежать навзничь среди подснежников на йоркширской пустоши и строить грандиозные планы на жизнь?

Думаю, да. Где ее место на карте населенного призраками неба?

— У Джодо родились котята, — сказала я.

— Сколько?

— Трое.

— Так-так. Надеюсь, роженица чувствует себя хорошо?

Я отметила, что о новорожденных она не спросила.

— Мне бы стакан воды, — сказала я.

Она поразмыслила.

— А где «пожалуйста»?

— Пожалуйста.

Я следила, как она идет на кухню, слышала, как открылась дверца холодильника и в стакан полилась жидкость. Мать принесла мне воды.

Всю свою жизнь я ее обихаживала. Состояла при ней подавальщицей. Ждала ее заказов; ждала ее. А чего ждала? Ждала, когда она войдет в свое «я» или выйдет из своего инвалидного «я». Жда-

ла, когда она совершит путешествие за пределы своего мрака, взяв себе билет в полную жизнь. И — с доплатой — мне тоже. Да, я всю жизнь ждала, чтобы она заняла для меня место.

— Будем здоровы. — Я подняла стакан.

Дверь на террасу, выходящую на пляж, отворилась сама собой. В комнату ворвался легкий ветер. Теплый ветер пустыни, который принес с собой насыщенный соленый запах водорослей и запах горячего песка. О берег разбивались волны; стол на террасе дал приют моему ноутбуку, и ночные звезды, сделанные в Китае, вспыхнули под настоящими звездами Испании. Все лето я гуляла по лунным дорожкам цифрового Млечного Пути. Там спокойно. Зато я не спокойна. Мой мозг — как придорожная полоса, где по ночам лисы поедают сов. На звездных полях, с их слабо светящимися дорожками, бегущими через весь экран, я оставляла следы в пыли и сиянии виртуальной вселенной. Мне и в голову не приходило, что, подобно Медузе, электроника могла превратить меня в камень, внушить боязнь спуска на Землю, где действуют все жесткие правила насчет сканирования штрихкода и оплаты на выходе, где с лихвой слов для обозначения выгоды и в дефиците слова для описания боли.

— Сегодня гулять ходила, — сообщает мама. — От избытка чувств даже не сразу смогла с тобой поделиться.

— Понимаю. Ты никогда не делилась хорошим.

— Не хотела раньше времени тебя обнадеживать.

— Тебе никогда не хотелось меня обнадеживать.

— Хочешь послушать про водителя грузовика? Хоть кто-то подбросил меня до дома.

— Нет. Я не хочу ничего о нем слышать.

— О ней. Это была она.

Поставив свой стакан на стол, Роза подошла ко мне.

— Нельзя ездить без прав, София. Было темно, а ты даже не включила фары. Я боялась за твою жизнь. Не представляю тебя в роли водителя.

— Понятно, — сказала я, — но ты сама водишь. Ты в своем доме главная. Не поступайся своими интересами.

— Постараюсь. — Она без малейших усилий опустилась рядом со мной на жесткий зеленый диван в нашем временном жилище. — Постараюсь не поступаться своими интересами, но пока вижу только одно: ты должна поехать в Америку, чтобы завершить диссертацию.

А какие перспективы я видела для нее?

Я видела, как она надевает стильные туфли с ремешками через подъем. Как указывает на свою бриллиантовую побрякушку — часы — и торопит меня, чтобы нам не опоздать в кино. Она уже заказала билеты. Да, и места сама выбрала. Давай быстрее, София (указывает на часы), шевели ногами, я хочу трейлеры тоже посмотреть.

— И еще кое-что, София.

— Гомес мне уже сказал.

— Что он тебе сказал?

— Что вернет деньги.

— Надо же, — сказала она. — Это совсем не обязательно. Он прекрасный врач.

Роза продолжает что-то рассказывать. Сначала мне слышится «Эзоп — гениальный». Эзопа она упомянула раза три. И только тогда до меня дошло: она говорит «эзофагеальный». Эзофагеальный.

И сообщает мне результаты эндоскопии.

Прошло много времени. Ее гангстерские часы по-прежнему тикают. Волны разбиваются о берег.

Я кладу голову ей на плечо.

— Не может быть, мам.

Неужели поддаться смерти легче, чем жизни?

Я поворачиваюсь к ней лицом.

Она выдерживает мой взгляд. Глаза ее сухи.

— У тебя такой жуткий взгляд, — говорит она. — Но я наблюдала за тобой не менее пристально, чем ты за мной. Матери — они такие. Наблюдают за своими детьми. Мы знаем, какую власть имеет взгляд, а потому делаем вид, что не смотрим.

Начинается прилив; с его бурными водами приплывают медузы. Щупальца этих студенистых животных существуют будто по отдельности, как плацента, как парашют, как беженец, отсеченный от страны происхождения.